# Незабываемые встречи

Нина Абрамовна Воронель

SHOUT
SHARE
IT

- 
- Корней Чуковский и Лиля Брик
- АННА АХМАТОВА
- А.А. и А.А. ТАРКОВСКИЕ – ОТЕЦ И СЫН
- Нонна Мордюкова
- На фоне Гефсиманского сада
- ВЕНЯ ЕРОФЕЕВ
- АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН И БЕНЕДИКТ САРНОВ
- ДЭЗИК САМОЙЛОВ
- МЕНАХЕМ БЕГИН
- АЛЛА ЗИМИНА
- Таня и Маргарита
- МОЙ ПЕРВЫЙ СЕДЕР


***Незабываемые встречи***

# Корней Чуковский и Лиля Брик

К Корнею Ивановичу Чуковскому я попала чудом. Моя школьная подруга Лина работала в каком-то химико-технологическом институте вместе с его внучкой Люшей, и та, по ее просьбе устроила мне визит к своему всемогущему деду. Когда по прошествии полувека я попыталась напомнить об этом Люше, она была крайне удивлена, - она знала, что К.И. высоко ценил мой перевод из Уайльда, но понятия не имела о той роли, какую она сыграла в моей жизни.

То, что произошло со мной после моего первого драматического визита в переделкинский дом К.И. было истинным чудом, прижизненной реализацией сказки о Золушке, только я тогда этого совершенно не понимала. Я была еще очень молодая и, закусив удила, мчалась по стремительно стелющимся мне под ноги тропинкам своей судьбы, не слишком раздумывая о том, куда эти тропинки ведут. Все было так ослепительно весело и ярко, люди и события так круто завихрялись вокруг, что некогда было вдумываться в смысл разворачивающегося вокруг действа.

Чудеса начались с того момента, когда нам с Воронелем удалось прорваться в Москву. Весь предыдущий год, сразу по окончании университета, мы прожили в забытом Б-гом городишке Саранске, столице мордовской автономной республики. В Саранск нам посчастливилось пристроиться после недолгих, но изматывающих игр с министерством просвещения, пытавшегося загнать Сашу учителем физики в памирский аул, в который от последней остановки автобуса нужно было добираться 120 км. верхом на осле. Нельзя сказать, что голодный центр мордовии, средоточия политических лагерей строгого режима, выглядел райским местом. Впрочем, о лагерях мы тогда понятия не имели, но всей кожей чувствовали гнетущую атмосферу тоски и отчаяния, до крыш заполняющую невзрачные улочки нашего временного прибежища.

Как потом оказалось, именно в это время, именно в этом, с позволения сказать, городе томился в ссылке знаменитый культуролог Михаил Бахтин, но никто из нашего окружения о нем и слыхом не слыхал, да и имени его тогда никто не знал, так что мы даже не заподозрили, что где-то совсем рядом, в непроглядной стуже убогого саранского существования теплится огонек истинной творческой мысли.

Условия для творческой мысли были хуже некуда. Год шел

1955-й, друг детей товарищ Сталин умер совсем недавно, и еще очень немногие успели это осознать, тем более, что жизнь в стране продолжала катиться по рельсам, проложенным покойником хорошо и надежно. На полках магазинов столичного города Саранска не было никаких продуктов, и каждое утро, задолго до рассвета у дверей булочных собирались огромные очереди, дожидающиеся открытия, чтобы с боем рвать друг у друга буханки кислого черного хлеба, самой съедобной составляющей которого были непропеченные комья холодной скользкой картошки. Лица у людей были изможденные и озлобленные, глаза без блеска, кожа без румянца.

Только через много лет я догадалась, что не только перманентная голодная диета, но и эманация десятков тысяч душ, замордованных где-то по соседству, накладывала печать смерти на лица жителей Саранска. Но тогда мне было не до мистики - мне самой необходимо было выжить, выжить чисто физически, то есть не умереть с голоду. И для этой цели я, не найдя никакой другой работы, подрядилась по путевке обкома партии читать в деревенских клубах лекцию на тему "Использование атомной энергии в мирных целях".

При перепечатке полуграмотная обкомовская машинистка превратила ее в лекцию об "Использование атомного оружия в мирных целях", и с этой парадоксальной рукописью, утвержденной отделом пропаганды мордовского обкома, я поехала по городам и весям в надежде получить какие-то жалкие гроши за свои выступления. Состояние публики, насильно сгоняемой на мои лекции, с удивительной точностью соответствовало состоянию наземных путей, по которым меня на эти лекции доставляли. Лесные дороги, ведущие в районные центры и в большие деревни, осчастливленные наличием средних школ, были изрыты ямами и колдобинами, в которые запросто мог провалится любой нормальный грузовик. Что он обычно и делал, подвергая себя и меня опасности утонуть, если в яме скапливалось достаточное количество воды.

Каких только чудес не насмотрелась я в своих путешествиях по мордовской земле! Однажды мой очередной попутный шофер резко затормозил при виде суетливой толпы, дружно ныряющей в довольно полноводную речку. На веселое народное купанье это было явно не похоже - дело было ранней весной, снег только-только стаял и вода в речке была ледяная.

- Чего у вас там? - крикнул шофер, но ему никто не ответил. Мы пригляделись - мрачные мужики в ватниках и сапогах, матерясь и отплевываясь, тащили из воды на берег какие-то громоздкие, поблескивающие на солнце хвостатые рулоны. "Эх,

мать-перемать! -догадался шофер. - Да это ж, никак, лошади!" И помчался вниз, к речке. Я побежала за ним и с содроганием увидела у себя под ногами трупы шести лошадей с неправдоподобно вздутыми животами. Утром их выпустили из стойла в поле - в первый раз после холодной зимовки - и они рванули к речке, чтобы напиться. А напившись, так отяжелели, что не в силах были выбраться обратно на берег по причине чудовищного голодного истощения.

- Так и утонули., бедолаги! - философски констатировал шофер, пускаясь в дальнейший путь. Мы переправились через речку по хлипкому мостику и въехали на вершину невысокого холма. Небо было нежно-голубое. едва начавшая пробиваться первая травка отливала изумрудной зеленью, и по этой благодати сомнамбулически бродили странные, лиловато-розовые существа, кое-где испещренные грязно-белыми и темно-серыми пятнами.

- Кто такие? - изумилась я, не в силах охватить происходящее своим наивным разумом балованного городского ребенка.

- коровы это! Не видишь, что ли? - сердито рявкнул мне в ответ шофер.

- А почему розовые? Порода, что ли, такая? - не унималась я. Шофер в сердцах щедро сплюнул за окно:

- Какая на хрен порода? **Шерсть у них с голодухи повылезала.** Голые они, вот и розовые!

В районной школе, в которую он меня привез, я должна была читать лекцию местным учителям., и, чтобы не ударить в грязь лицом, я старалась представить им материал как можно научней. В их деревне не было ни одной уборной, - нужду справляли прямо на огородах. Но я этого не знала и потому не могла понять, почему, слушая мой рассказ о хитром устройстве ядерного котла, учителя смотрели на меня такими странно пустыми, мертвыми глазами. Я только чувствовала парализующую неловкость от их напряженного молчания, и мысль моя металась в ужасе -а вдруг то, что я им рассказываю, выдает мою неопытность и неосведомленность? Мне и в голову не приходило, что они просто не понимали ни слова, потому что в борьбе за жизнь давно забыли и физику, и химию, и всякую прочую гуммиарабику.

Наконец, мне удалось вырваться из этого кошмара и пуститься в обратный путь, в свой милый, издалека казавшийся даже уютным, Саранск - ведь в моей квартире была хоть немного дымящая, но все же обогревающая угольная печка и уборная со сливом! Однако счастье мое было неполным - попутной машины найти не удалось и меня отправили на железнодорожную станцию в легкой однолошадной телеге, возвышающейся на крупных деревянных колесах без рессор. Ехать было недалеко,

километров десять, но, как говорят в Одессе, если вы не ездили по проселочной дороге на телеге без рессор, так лучше и не пробуйте.

К концу путешествия меня так растрясло, что я почти ползком добралась до вагона, нечеловеческим усилием преодолевая страшную боль, раздирающую мои внутренности. По приезде выяснилось , что у меня открылась язва желудка - то ли от саранского хлеба, то ли от охватившей мою душу депрессии, то ли и от того, и от другого. Ведь тогда казалось, что мы обречены навек оставаться в Саранске, где для меня не было другой работы, кроме чтения этих дурацких лекций. И убежать откуда было просто опасно - министерство, правая рука которого не знала, что делает левая, все еще продолжало разыскивать Сашу.

Чтобы не умереть от тоски, я отправилась в библиотеку Пединститута, не подозревая, что именно там поджидает меня Судьба "с большой буквы". Роясь среди пыльных книг, я наткнулась на тоненький томик в затрепанном бумажном переплете, озаглавленный "Антология англо-американской поэзии" - видимо, в сознании составителя такой кентавр существовал. Почти каждому представленному в этой антологии англо-американскому стихотворению был предпослан советско-русский комментарий вроде такого: "Здесь представлена картина, типичная для капиталистического общества - по трупу умершей от голода молодой матери ползает осиротевший младенец в поисках ласки и тепла".

Перелистывая этот шедевр социалистического реализма, я обнаружила где-то в конце его странную поэму, написанную очень длинными строками, полными внутренних рифм, и не снабженную никаким комментарием. Поэма принадлежала Эдгару Аллану По и называлась "ворон". Я не заметила, как пролетело время. Мучительно продираясь сквозь свое сомнительное знание английского языка, я все глубже и глубже погружалась в мистический мир дрожащих теней, шелестящих крыльев и беспредельного отчаяния, многократно скрепленного вечной печатью слова "Никогда!" Я очнулась только тогда, когда библиотекарша раздраженно повторила - наверно уже не в первый раз: "Граждане, сдавайте книги. библиотека закрывается".

Домой я летела, как на крыльях, на тех самых, шелестящих. шуршащих, трепетных крыльях "Ворона". Депрессию мою как рукой сняло - я точно знала, что мне надо делать: прийти в библиотеку завтра утром, переписать поэму Эдгара По и перевести ее на русский язык. Я не задавала себе вопроса, умею ли я переводить, и не перевел ли уже поэму кто-нибудь другой -

это было несущественно: Я ДОЛЖНА БЫЛА ЕЕ ПЕРЕВЕСТИ. Иначе не стоило жить!

И я ее перевела! На это ушло каких-то полгода жизни, но это была настоящая жизнь! Есть строки, которыми я горжусь и по сей день, почти через полвека:

Окна сумраком повиты...
Я, усталый и разбитый,
Размышлял над позабытой
мудростью старинных книг.
Вдруг раздался слабый шорох,
тени дрогнули на шторах,
И на призрачных узорах заметался светлый блик,
Будто кто-то очень робко постучался в этот миг,
Постучался и затих.

Ах, я помню очень ясно:
плыл в дожде декабрь ненастный.
И пытался я напрасно
задержать мгновений бег.
Я со страхом ждал рассвета -
в мудрых книгах нет ответа,
Нет спасенья, нет забвенья,
беззащитен человек,
Нет мне счастья без Леноры,
словно сотканной из света
И потерянной навек

Темных штор невнятный ропот,
шелестящий смутный шепот,
Шепот, ропот торопливый
дрожью комкал мыслей нить,

И стараясь успокоить
сердце, сжатое тоскою,
говорил я сам с собою:
"Кто же это может быть?
Это просто гость нежданный
просит двери отворить.
Кто еще там может быть?".
.....
Никогда не улетит он,
все сидит он, все сидит он,
Словно сумраком повитый,
там, где дремлет темнота.

Только бледный свет струится,
тень тревожно шевелится,
Дремлет птица,
свет струится, как прозрачная вода,
И душе моей измятой,
брошенной на половицы,
**Не** подняться, не подняться,
Не подняться никогда!

И вот с этим переведенным мною «Вороном» я отправилась по Люшиной рекомендации к великому мэтру перевода Корнею Ивановичу Чуковскому. К тому времени мы уже перебрались в Москву - рассказ о том, как нам это удалось и как нам там жилось, занял бы много страниц, и я его опущу.

Оказавшись в Москве, я занялась розысками и обнаружила другие переводы "Ворона", сделанные известными поэтами – Бальмонтом, Брюсовым, Зенкевичем...

И к моему ужасу, эти переводы мне не понравились - ни один! Я сравнивала их с оригиналом и не находила в них ни его завораживающего ритма, ни его волшебной музыки, ни его трепета. И потому я решилась показать свое детище самому почитаемому мною ценителю.

С самого начала мое путешествие в дачный писательский поселок Переделкино развивалось по законам мелодрамы дурного вкуса. Мне было назначено явиться в пять часов вечера. Когда я села в вагон пригородной электрички, отправлявшейся с Киевского вокзала, за окном угасали мирные декабрьские сумерки. Однако когда через полчаса я вышла из вагона на Переделкинской платформе, там бушевала редкая для московских широт снежная буря. Не знаю, оказался ли там эпицентр урагана или это были козни потусторонних сил, но воистину мело "по всей земле, во все пределы" - хочется сказать "Переделы".

С трудом продираясь сквозь сокрушительные порывы совершенно полярного ветра, я побрела по колено в снегу без дороги неведомо куда, ослепленная и оглушенная яростью сорвавшейся с цепи природы. Как я потом узнала, путь от станции Переделкино до писательского поселка можно пройти за двадцать минут, но у меня ушло часа полтора, чтобы добраться до дачи Чуковского, - пурга погасила все уличные фонари и спросить дорогу было не у кого: улицы словно вымерли.

Когда я, промокшая и продрогшая, отыскала, наконец, нужный дом, было уже не пять, а шесть часов, но я все же осмелилась позвонить - не поворачивать же было обратно? К тому

времени над притихшим поселком уже воцарился тот особый, почти безмятежный покой, какой бывает после бури.**На** мой звонок открыл сам Корней Иванович и воскликнул с лукавой усмешкой: "Явилась все-таки? Ну, героиня!" Можно было подумать, что он нарочно организовал эту пургу, чтобы проверить меня на прочность.

Однако прочность моя уже подходила к концу. - меня била дрожь и голова кружилась от холода, голода и напряжения. Окинув меня проницательным взглядом.**К.И.** крикнул в глубь дома:

- Маша, принесите какие-нибудь сапоги, а то с нее уже лужа натекла!

Пришла домоправительница Маша, ворча, забрала мои мокрые одежки, и выдала мне взамен сухие сапоги, толстые шерстяные носки и просторный тулуп. После чего К.И. объявил: "А теперь мы пойдем в Дом творчества, у меня там свидание. Раз уж вы опоздали, слушать ваш перевод я буду потом, когда вернемся."

И повел меня по слабо расчищенным дорожкам в святая святых литературной жизни. Кто знает, может, если бы не пурга, вовек бы мне туда не попасть!

Как только мы вошли, нас окружила возбужденная толпа старичков - такими они мне, во всяком случае, показались,**К.И.** при этом мне вовсе не казался старым, хоть, все они наверняка были моложе его, но в нем была такая мощная стать, такая элегантность осанки, такая гибкость движений длинных рук со стройными пальцами. Он возвышался над всеми, одновременно снимая пальто и отшучиваясь на какие-то мелкие дружеские нападки.

Сплоченной группой мы двинулись куда-то вглубь дома сквозь строй завистливых взглядов тех, кто не был принят в нашу веселую компанию, **К.И.** шагал во главе процессии, как главнокомандующий, а я рядом с ним, в каком качестве - неясно. Представив меня как начинающую переводчицу, он начал называть мне имена наших спутников - Луговской, Заболоцкий, Голосовкер. Имен этих я тогда не знала и потому вовсе не впечатлилась, не стала жадно всматриваться в их лица, чтобы запечатлеть, а жаль! Запомнился мне только молодцеватый Луговской, да и то, скорей всего, потому, что я его потом еще пару раз встречала у К.И. и даже читала ему свои стихи, которые он не одобрил.

Но в тот памятный вечер они одобрили меня всем скопом - не за стихи, а за молодость, за большие еврейские глаза и за румянец, вспыхнувший на моих щеках (им, старым лошадям,

они, небось показались ланитами), когда я, наконец, отогрелась после пробежки сквозь снежную бурю. Они острили наперебой, говорили друг другу колкости и каждый стремился выступить передо мной в наилучшем виде. Все это завершилось дружным приглашением разделить с ними их писательский ужин.

Я с восторгом согласилась - я вообще в те времена сильно недоедала, а тут еще борьба с ледяным ветром и промокшие ноги. Так что мы все тем же сплоченным строем с песнями и шутками двинулись в столовую. Там на столах уже стояли тарелки с горячей гречневой кашей, от запаха которой у меня закружилась голова. У официантки была затребована еще одна тарелка и в нее каждый доброхот от всего сердца отвалил изрядную часть своей порции. Получилась полная тарелка с верхом. Я нарочито замедленно погрузила ложку в душистую коричневую массу, предвкушая восхитительный первый глоток.

Но не успела я донести ложку до рта, как на плечо мне легла длинная рука и рванула меня прочь от заманчивого продукта.

- Вы к ним приехали или ко мне? - рявкнул **К.И. -** Нечего здесь рассиживаться, скорей пошли ужинать!

Знаменитые поэты так и застыли с разинутыми от изумления ртами, наблюдая, как **К. И.** быстрым шагом поволок меня к выходу. Кое-как напялив тулуп с чужого плеча, я, оскальзываясь на уже успевшем застыть насте, поспешила за ним.

Ужин у **К.И.** был воистину царский - писательская гречневая каша не шла с ним ни в какое сравнение. Чего там только не было: и салат-оливье, и красная рыба, и буженина. пришлось даже выпить чего-то крепкого, так что я вконец опьянела.

- А теперь читайте вашего "Ворона", - скомандовал **К.И.,** когда Маша поставила на стол чай и стаканы в подстаканниках. Читала я хорошо - то ли спьяну, то ли от волнения. Дослушав меня до конца, не перебивая, **К. И.** несколько секунд помедлил в молчании, а потом поднялся во весь свой гигантский рост, вытянул надо мной руку наподобие семафора и произнес:

- Старик Чуковский ее заметил и, в гроб сходя, благословил!

В голове у меня помутилось и комок застрял в горле, хоть не думаю, будто я на месте осознала, что Судьба повернулась ко мне лицом. Я не

осознала это и тогда, когда **К.И.** сказал:

- Сейчас езжайте домой, а то ведь уже поздно, а через неделю приезжайте снова почитать мне ваш перевод еще раз. Только снежных бурь больше не устраивайте.

Я выкатилась на заснеженную улицу, прижимая к груди сверток со своими мокрыми сапогами и унося на своих ногах

Машины сухие сапоги.

- Не волнуйтесь. Маша, - сказал лукавый **К.И.,** - она ваши сапоги через неделю принесет, как миленькая.

Он был прав - я не только явилась через неделю с Машиными сапогами, но стала регулярно таскаться в Переделкино, благо меня там привечали, и слушать захватывающие дух рассказы **К.И.** о встреченных им за долгую жизнь людях. Я, как губка, впитывала его рассуждения о поэзии и переводах, быстро-быстро превращаясь из гадкого утенка, сдуру закончившего провинциальный физмат, - если не в лебедя, то в какую-то другую птицу приличной литературной породы.

Когда я приехала к **К.И,** чтобы прочесть ему мой перевод "Ворона" второй раз, он слушал меня так же внимательно, как и в первый день, а потом спросил, где я училась. Услышав, что я закончила физико-математический факультет, засмеялся:

- Вы напоминаете мне того еврея, который на вопрос, какого он вероисповедания картаво ответил "римско-католического». А что вы еще переводили?

Я, собственно ничего, кроме Эдгара По не переводила, - переехав в Москву я отыскала и перевела "Улялюм".

- Как и "Улялюм" тоже? Ну-ка прочтите.

Хоть поэма 'Улялюм" далась мне чуть легче, чем "ворон', перевод ее тоже был задачей не из простых!

Под унылым седым небосводом
Расставались деревья с листвой,
С увядающей жухлой листвой,
И страшился свиданья с восходом
Одинокий Октябрь надо мной.
Одиноким отмеченный годом.
Плыл туман из пучины лесной
И стекался к безрадостным водам,
К одинокому озеру Одем
В зачарованной чаще лесной
Мы роняли слова мимоходом,
И слова опадали листвой,
Увядающей жухлой листвой,
Нам казалось - Октябрь был иной,
Не помеченный памятным годом,
Страшным годом - смертельным исходом,
Мы не вспомнили озеро Одем.
Хоть бывали там в жизни иной,
Не узнали мы озера Одем
В зачарованной чаще лесной.

**К.И.** вскочил с кресла.

- И откуда только что берется? - спросил он неизвестно кого. - Ведь физико-математику кончала и до вчерашнего дня ничего-ничегошеньки не знала о переводах! Можно было подумать, что он на меня сердится.

- И вот, пожалуйста "...мы роняли слова мимоходом, и слова опадали листвой". Ну откуда вы эти образы взяли?

На этот вопрос ответ у меня был готов:

- У Эдгара По, конечно.

- Да вы хоть знаете, сколько раз эти стихи переводили? И кто переводил?

Я неопределенно качнула головой, изобразив нечто среднее между "да" и "нет", чтобы скрыть свое невежество. Но хитрый К.И. меня насквозь видел:

- Ясно, значит, ни черта не знаете.

- Ну почему же не знаю... - защищаясь, пробормотала я. - Брюсов, Бальмонт... - и запнулась, исчерпав свой список.

- Да, и Брюсов, и Бальмонт и многие другие. И никто из них не справился. Правда, был один переводчик «Ворона», который сильно приблизился к оригиналу, почти вплотную. Вы о нем, конечно, не слышали.

С этими словами он снял с книжной полки растрепанный толстый томик и протянул мне. На обложке было написано: "Чтец-декламатор", года издания сейчас не помню, - какой-то очень дореволюционный, потому что бумага совсем пожелтела. Я нашла в оглавлении "Ворона" в переводе некоего или некой Altalen'ы и хотела было начать читать. Но К.И. замахал руками - мол, не сейчас, возьмите домой и читайте! Как и в случае с Машиными сапогами, он был уверен, что никуда я с его драгоценной книгой не денусь. Он только хотел знать, не догадываюсь ли я, кто скрывается под псевдонимом Альталена.

Ну как я могла догадаться - тогда, в 1956 году? Я и о Жаботинском-то никогда не слышала, а уж об "Альталене" и подавно. Только много лет спустя, уже после смерти**К.И.** его секретарша Клара драматическим шепотом рассказала нам о его дружбе с Жаботинским и показала альбом с их юношескими фотографиями. Они ведь долгие годы состояли в тайной переписке - представить только, при Сталине! **К.И.** был очень рисковый человек.

Перевод Жаботинского и впрямь оказался намного лучше переводов всех остальных страдальцев, в поте лица бившихся над неподатливой внутренней рифмовкой Эдгара По. С тех пор он мне никогда больше не попадался: к сожалению, все попытки - мои и других любителей "Ворона" - были напрасны, нам так и не

удалось отыскать заветный томик "Чтеца-декламатора".

Мне порой кажется, что трогательное участие К.И в моей судьбе было как-то связано с его сентиментом к Жаботинскому. Ну кто я для него была? Наивная провинциалка, в мокрых сапогах ввалившаяся в его дачный уют и не знающая разницы между Михаилом Кольцовым и Алексеем Кольцовым? Ух, и досталось мне и всему моему поколению за этих злополучных Кольцовых!

- Вот уж не думал я, что можно взять и физически вычеркнуть человека из народной памяти, - ядовито процедил **К.И.** сквозь зубы в ответ на мое невежество, будто именно по моей вине Михаил Кольцов был вычеркнут из народной памяти.

Но это было уже гораздо позже, когда я прижилась в доме Чуковского, и Маша ставила на стол добавочный стакан, как только я переступала порог. Я часто слышала от других жалобы на то, что**К.И.** никогда никого из простых смертных не угощает - никого, кроме специально приглашенных на трапезу**.** Мне кажется, это было просто злословие - меня в его доме угощали всегда. И Сашу тоже – с *тех* пор, как я упросила **К.И** позволить мне привезти его разок с собой, его тоже стали принимать как своего.

Нам очень повезло - мы пивали чай в гостеприимном доме К И. с разными знаменитыми людьми, разок с Константином Фединым, разок с Ильей Сельвинским, пару раз с Владимиром Луговским и даже как-то раз с одноглазым другом Маяковского, Давидом Бурлюком, приехавшим с визитом из заморских краев. И с переводчиком с японского языка, таинственным татарином Рахимом Зея, много лет просидевшим с Даниилом Андреевым в одной камере Владимирской тюрьмы и выдававшим себя за египетского принца по имени Харун ибн Кахар шейх Уль Мюлюк эмир Эль-Каири. А может, он и вправду был принцем по имени Харун ибн Кахар шейх Уль Мюлюк эмир Эль-Каири, а татарин Рахим Зея, как он утверждал, был ему насильно вписан в паспорт советской властью? Правды не знал никто, - ни мы, ни его собратья по японскому языку, ни сам Корней Иванович.

Кормили меня в доме **К.И.** не случайно - проницательный его глаз быстро просек мое постоянно полуголодное существование. Почти в самом начале нашего знакомства он спросил:

- А чего это у вас вид какой-то худосочный?

Я пролепетала что-то жалкое в свое оправдание,но К.И. уже все понял, хоть говорят, сытый голодного не разумеет:

- Денег, небось, нет, правда? Хотите у меня подработать? Я тут книгу готовлю по теории перевода,вот вы и

проведите для меня сравнительный анализ разных переводов сонетов Шекспира. Хотите попробовать?

Хочу ли я? Да я в лепешку разобьюсь, да я горячие сковородки лизать буду, да я...

- Вот и отлично, - прервал мою восторженную декламацию **К.И.** - Езжайте домой и беритесь за работу. И раз в неделю ко мне, с отчетом**.** Я буду вам за это платить... - и он назвал сумму, сейчас не помню, какую, но тогда она показалась мне целым состоянием.

**Никто** никогда не учил меня делать сравнительный анализ разных переводов **- меня** учили другим, никогда в жизни **не пригодившимся мне** познаниям, вроде интегрального исчисления или принципа тождественности микрочастиц в квантовой механике. И спросить про этот анализ было не у кого, не говоря уже о том,**что я** понятия не **имела,** где искать разные переводы одних и тех же сонетов.**Но** делать было нечего - ведь я поклялась **разбиться в** лепешку и вылизать **бессчетное количество горячих** сковородок.

Ровно через неделю я опять звонила у знакомой двери, зажимая под мышкой большую папку со сравнительным анализом **полутора** десятков переводов **66-го** сонета. Похоже, я перестаралась, - увидев мои листки,**К.И.** поморщился:

- Ну зачем же всех без разбора? Нужно было отобрать тех, что получше.

**Однако** листки взял и долго их рассматривал, разглаживал, сверял.

- А, в общем, молодец!**На** первый раз справилась, можно двигаться дальше.

И вручил мне обещанную купюру, которая позволила нам всю неделю мазать масло на хлеб. Ведь большая часть ничтожной Сашиной зарплаты уходила на съем переменной **квартиры,** из которой нас каждый раз **ровно** через месяц после въезда выгоняла милиция, потому что **у нас** не было **московской** прописки. **По** этой **же** причине я не могла устроиться **на работу, и мы** жили впроголодь, спасаясь в основном **за** счет смелой реформы **Никиты** Хрущева, распорядившегося в народных столовках **держать на** столах нарезанный хлеб. Мы брали по стакану **чая за 32 копейки и заедали** его **хлебом с горчицей,** тоже щедро **расставленной по всем столам. Впрочем, примерно раз** в три месяца мы **обогащали свой** рацион контрабандной паюсной черной икрой, присылаемой **Сашиной** мамой **из** прикаспийского **города** Махач Кала. **Б**анку **такой икры мы** съедали **за два-три дня,** зачерпывая густую черную массу столовой ложкой, а потом **опять возвращались** к

хлебу с горчицей.

Всех этих подробностей**К.И.** конечно не знал, - я стеснялась открывать ему нищенскую подноготную нашего быта, - но понимал, что мы страшно нуждаемся. Игрунчик по природе, он любил превращать вручение мне денег в театр одного актера. Мы обычно располагались с моими листочками в столовой, попивая при этом чаек с печеньем, и по окончании работы **К.И.** выходил в свой кабинет, откуда возвращался бочком, изображая крайнее смущение, медленно подходил ко мне, как бы не решаясь, а потом быстрым движением совал мне в ладонь свернутую в трубочку банкноту. Глаза его при этом сияли - вот, дескать, какой я молодец, ехал на ярмарку ухарь-купец!

**Так** же **сияли его глаза** через **несколько лет, когда в сиреневом** двухтомнике Оскара Уайльда после длительной **борьбы был опубликован** мой перевод "**Баллады** Редингской тюрьмы".

- Ну, молодец я или нет? - ликовал **К.И.** - Разве я не обещал, что мы **их** всех победим?

**На** что я, изрядно к **тому** времени **осмелевшая, парировала:**

- Были бы вы молодец, им не удалось бы вашу вступительную статью из двухтомника выбросить.

**Не** знаю, как **К.И.** пришла в голову фантастическая идея предложить мне переводить знаменитую Уайльдовскую «Балладу», мне - двадцатитрехлетней провинциальной дурочке, только-только закончившей физико-математический факультет Харьковского Университета. Теперь эта идея представляется мне в каком-то смысле не менее опасной, чем тайная переписка с Зеевом Жаботинским. Ведь по существовавшей тогда (да, думаю, и сейчас) казенной табели о рангах за маститых писателей полагалось браться людям маститым же - зрелым, умелым, зарекомендовавшим себя предыдущими достижениями.

Теперь уже не узнать, чувствовал ли себя **К.И.** рядом со мной Пигмалионом, или хотел насолить сыну Коле, жаждавшему этот заказ от него получить. **Но** какова бы ни была причина, он сказал мне однажды небрежно**,** как бы между прочим:

**- Не** хотите попробовать перевести одну вещицу для сборника Оскара Уайльда, который я составляю?

- А что именно? - спросила я, припоминая все то из Уайльда, что я знала и любила, - "Кентервильское привидение", "Как важно быть серьезным", а может, "Портрет Дориана Грея"? Но чего вдруг - ведь я не переводила prozy!

- «Балладу Редингской тюрьмы" - ответил **К.И. и я** онемела. "Баллада" уж точно была мне не по зубам.

Уловив смятение на моем лице,**К.И.** тут же начал играть со

мной в кошки-мышки:

- В чем дело? Чего вы испугались?

- Да кто мне позволит?

- Что значит - кто, если я вам предложил! **Ведь это задача** в вашем **вкусе -** взяться за то, что у других не получилось.

- А вы не боитесь, что и у меня не получится?

- Чего мне бояться? Это вы должны бояться. Мне что - если у вас не получится, я ваш перевод **не** возьму. Зато, если получится, я вас в обиду не дам.

И я согласилась - сдуру, конечно, совершенно не представляя, в какую петлю лезу. Ведь не случайно никому до тех пор не удалось передать музыку и значительность Уайльдовского стиха - дело в том, что английская баллада должна вместить все свои красоты в очень короткую строку, параметры которой продиктованы особенностями английского языка, по сути своей односложного. В нем почти все слова ударные, они следуют друг за другом, как на параде, отбивая чеканный шаг.

Русский же язык по природе своей многосложный, с малым количеством ударений, гибкий, плавный, струящийся, словно ручей по камешкам. Он совсем не стремится ставить точки над и - недаром в русском языке нет и с точкой. Какая это была мука - втискивать длинные текучие русские слова в короткую чеканную строку баллады! И какое наслаждение!

Когда я принесла **К.И.** перевод первой главы, у меня от волнения **опять** открылась закрывшаяся было язва. Сначала он велел мне прочесть **отрывок** вслух. Услышав строки:

«Ведь каждый, кто на свете жил
Любимых убивал.
Один жестокостью, другой
0травою похвал.
Коварным поцелуем трус.
А смелый наповал»,

он радостно потер **руки,** обращаясь к невидимой аудитории - мол, я же говорил!

А когда я прерывающимся голосом прочитала:

"**Не** каждый должен видеть высь,
Как в каменном кольце,
И непослушным **языком**
**Молиться о** конце ,
Узнав Каиафы поцелуй
**На** стынущем лице."

**К.И.** выхватилу **меня** рукопись и начал **жадно ее читать. Чем** дольше **он читал, тем безудержнее была** его радость:

- Ох, эти провинциальные еврейские девочки! **На** что только они **не** способны! Валяйте, переводите дальше!

И я отправилась в дальнейший путь. Я билась над переводом "Баллады" два **с половиной года, а ведь текст там вовсе не длинный - всего 660** строк.

**За** это время мне посчастливилось попасть в Литературный Институт - клянусь, положа руку на сердце - безо всякой протекции. Я ни слова не сказала**К.И** о своей попытке прорваться в недоступный питомник советских писателей, куда евреев не принимали принципиально. Стыдно признаться, но мне не столько нужно было литературное образование, сколько полагающаяся студентам московская прописка.

И мне опять повезло **-** в **тот** год в Литинституте впервые открыли переводческое отделение, и в эту щель немедленно просочилась горсточка моих соплеменников, включая и меня. Поскольку подправить свое образование мне тоже было невредно, я со страстью погрузилась в захватывающий мир людей, живущих словом, рифмой, строкой.

Однако открывшийся передо мной праздник литературной богемы ни на йоту не помешал главному делу моей жизни - переводу "Баллады". Что бы я ни делала - слушала ли лекции, читала ли тайно ходившие по рукам сборники Цветаевой и Мандельштама, - какая-то часть моей души постоянно прокручивала магнитофонную запись очередной строфы, перебирая, прослушивая, облизывая, отбрасывая и нанизывая слова-слова-слова.

Слова перекатывались у меня в мозгу, как морские камешки в прибрежной полосе, то и дело перестраиваясь, меняясь местами, образуя все новые и новые узоры. И вот через два с половиной года я положила перед **К.И.** готовый перевод. Он пробежал его глазами и "попробовал на зуб":

"Пускай до страшного суда
Лежит спокойно он,
Пусть не ворвется скорбный стон
В его последний сон,
Убил возлюбленную он
И потому казнен.»

Прочитав эти строки,**К.И.** произнес то ли торжественно, то ли игриво:

- Клянусь, я заставлю их это напечатать!

Увы, у него были причины сомневаться в том, что «они» напечатают мой перевод. К тому времени, как я закончила работу над «Балладой», К.И. уже не владел ситуацией - «они» умудрились выжить его, выбросив из сборника его вступительную статью, слишком уж была она хороша и фривольна для чопорного советского слуха. Так что он уже не был составителем двухтомника - уж не знаю, сам ли он отказался или «они» его разжаловали, но не он уже решал судьбу моего перевода.

Правда, вместо него был назначен славный человек, специалист по английской литературе Юлий Кагарлицкий, известный всей литературной Москве под псевдонимом Джо Кагер. Джо Кагер был школьным другом входящего в моду поэта Давида Самойлова и героем его веселой серии «Похождения Джо Кагера». Поскольку прототип Джо Кагера Юлий Кагарлицкий был во всем полной противоположностью бабника и выпивохи Самойлова, тот любил его такой же нежной любовью, какой Дориан Грей любил свой портрет. Награждая Джо Кагера своими пороками, он словно списывал на того свои грехи:

«Джо Кагер, будучи свиньей,
Решил разделаться с семьей,
И жизнь он начал холостую,
Презревши заповедь шестую.

Но чем же кончил этот гад?
Тот гад раздавлен был в борделе,
Когда сотрясся Ашхабад:
Господь, поскольку было надо,
Не пожалел и Ашхабада».

Или еще лучше: Джо Кагер, упившийся до потери сознания, валяется в канаве, и прохожие спрашивают:

«- Что это там за жо…, сэр?
- То просто пьяный Джо, сэр!»

Спрашивается, кто бы стал принимать во внимание мнение Джо Кагера? Даже его собственный четырехлетний сын Боря на вопрос хозяина дачи, который собираясь на охоту, спросил, любит ли охотиться Борин папа, сказал со вздохом: «Ну что вы? Мой папа ведь еврей, он только книжки умеет читать!». Мог ли этот бедный папа противостоять «им»?

**Но мне опять повезло. К.И.** выполнил свое обещание – он взял на себя почти непосильную задачу: заставить раздраженных его неординарным поступком столпов

переводческого цеха признать достоинства моего перевода. Конечно, без его поддержки никакие достоинства не помогли бы мне этот перевод напечатать. Возмутителен был сам факт: мне по рангу было не положено за это даже браться –

"на что он руку поднимал?", так сказать.

**К.И.** выступил против всех - за меня. Он начал таскать меня по каким-то важным кабинетам издательства "Художественная литература", представляя всюду, как замечательную молодую переводчицу, до которой никто не сумел адекватно изложить "Балладу" русским стихом.

Однажды мы забрели в кабинет самого могущественного директора Гослитиздата, носившего соответствующую его рангу фамилию Владыкин. Было это

в юбилейный день семидесятипятилетия **К.И.** и Владыкин принял именинника по-царски. В ответ на его поздравления **К.И.** сообщил, что он, по сути, еще очень молод и в подтверждение своих слов десять раз подпрыгнул, а потом вытолкнул на просцениум меня и, произнеся свой обычный монолог, потребовал от Владыкина, чтобы тот лично проследил, как продвигается к публикации мой перевод.

Прямо за дверью директорского кабинета **К.И.** поведал мне свой важнейший жизненный принцип: "Главное, - надо долго жить, тогда до всего доживешь. Когда мне исполнилось **70** лет, никто и не заметил, а к семидесяти пяти - видите, какой шум подняли?"

**Шум** по поводу семидесяти пятилетия **К.И.** и впрямь поднялся невероятный, но ни восторженные овации, ни стройные шеренги юных пионерок с букетами не заставили **К.И.** отказаться от борьбы за устройство моего перевода. **Не** знаю, какие закулисные интриги он вел, и какие тайные пружины задействовал, но, в конце концов, где-то на Олимпе было принято компромиссное решение послать перевод на отзыв двум самым страшным рецензентам, из рук которых мало кто уходил живым - Арсению Тарковскому и Сергею Шервинскому.

Я боюсь надоесть читателям повторением того же навязшего в зубах припева, но что остается делать - опять произошло чудо. Оба свирепых карателя, собственными руками, обагренными кровью многих молодых дарований, написали единодушно-положительные рецензии на мой перевод. И у администрации издательства не осталось иного выхода, - они были вынуждены включить в двухтомник мой перевод "Баллады". А вот бесподобную вступительную статью **К.И.** их никто не заставлял включить, и ее не включили, в результате чего мы с **К.И.** и обменялись приведенным выше диалогом.

Конечно, «их» решение поместить мой перевод в двухтомник было только началом моего тернистого пути к славе. Нельзя же было поверить на слово Корнею Чуковскому, известному злоумышленнику и шалуну, что мой перевод хорош. И мне назначили редактора – маститого переводчика французской и немецкой поэзии Вильгельма, а по-нашему Вилю, Левика, доброго милого человека, который, однако,

не знал английского языка. Ума не приложу, почему «они» на эту роль выбрали именно его, но он «редактировал» мою «Балладу», руководствуясь ее переводом на немецкий. Когда у нас возникали разногласия по толкованию текста, он ни разу не усомнился в своей правоте: «Немцы – гениальные переводчики, а немецкий язык создан для переводов», - уверял он меня, намекая, что переводы немцев во многих отношениях превосходят оригиналы.

Однако наши главные разногласия сводились не к толкованию текста Уайльда, а к различному пониманию поэтического арсенала русского языка. Мы с Вилей принадлежали к разным школам – он к классической, торжественной и глухой к синтаксическим несуразицам, а я, раз и навсегда пронзенная поэтикой Пастернака, к импрессионистской, больше всего озабоченной музыкой стиха и максимально афористической упаковкой слов во фразы.

Как-то я попыталась объяснить себе самой, чем мои переводы Эдгара По и Уайльда отличались от всех предыдущих, и, кажется, нашла разумный ответ: я не принадлежала ни к одной из общепринятых переводческих школ. Таких школ было две – школа «ужников» и школа «жешников». В то время, как «ужники» во все места, где не хватало слога, вставляли частицу «уж», «жешники» вставляли частицу «же». Я, в отличие и от тех, и от других, никогда этого себе не позволяла, а билась над строчкой до тех пор, пока все части головоломки не стыковались на сто процентов.

После полугодового оскопления моего перевода Вилей Левиком отредактированный им текст был принят «ими» и отправлен в печать. Когда я перечитывала этот ублюдочный вариант, составленный из не стыкующихся между собой компромиссов, у меня пропадала всякая охота считать это мертворожденное дитя своим. Поэтому, получив на вычитку последнюю верстку, я совершила отчаянный поступок, граничащий с преступлением. Дрожащей рукой я взяла ручку и вернула обратно весь свой первоначальный текст. Никто из «них» меня не проверял – наверно, мысль о подобном своеволии «им» и в голову не пришла, но я изменила не менее четверти высочайше

одобренного текста. За это своеволие меня заставили заплатить 78 рублей – что было равно моей студенческой стипендии за три месяца. Для нашего нищенского бюджета это было большим ударом, но я была счастлива, что спасла свой перевод !

В 1961 году сиреневый двухтомник Уайльда, наконец, успешно вышел в свет, и никто моей проделки не заметил. Все соучастники дружно гордились своей ролью в моем успехе. Перечитывали ли они окончательный текст, я не знаю. 600 000 первого тиража были распроданы так стремительно, что мне не удалось отхватить ничего, кроме 10 авторских экземпляров.

Это было лучшее время в истории литературы победившего соцреализма – уже оттаял Сталинский лед и еще не схватило морозом наивно-доверчивую Хрущевскую оттепель.

Я впорхнула в этот сверкающий ледяными осколками праздничный мир на крыльях своей невиданной, почти беспрецедентной победы над неподатливым текстом и над еще менее податливым литературным истеблишментом. Тем более что и в моей жизни кое-какие материальные признаки личного успеха добавились к общим оптимистическим тонам писательского существования: например, расклешенное пальто джерси цвета заходящего солнца, в пару к нему Сашино вальяжное пальто цвета маренго и половина старенького «Москвича» - вторую половину купил наш друг юности М.Г. Все эти богатства были приобретены на царский гонорар, полученный мною за перевод «Баллады» - могли ли мы, нищие бездомные скитальцы, за два года до того мечтать о подобном благополучии?

Слава моя быстро распространилась в переводческом мире, и ко мне потекли заказы и приглашения на семинары, где мое творчество обсуждали подробно и всерьез. Как-то, докладывая многолюдному собранию о проведенном им семинаре, Михаил Зенкевич так отозвался обо мне:

« Было очень интересное обсуждение, - вдумчиво сказал он. – Выступали с переводами талантливые молодые переводчики: Андрей Сергеев, Павел Грушко, Костя Богатырев и Нина Воронель – тоже женщина!»

А на заседании переводческой секции, где обсуждался вопрос о переиздании классиков стихотворного перевода, вдруг выступил сын К.И. – Николай Корнеевич Чуковский. Демонстративно глядя на меня, что было непросто, - поскольку, стесняясь своей неуместной в этом почтенном обществе молодости, я забилась в дальний угол комнаты, - он с непонятным обвинительным пафосом произнес:

« Мы должны заботиться и о покойных переводчиках. Ведь у

них нет преимуществ живых – они не могут втереться в доверие к составителю и на женском обаянии войти в литературу!»

После этих слов он с торжествующей улыбкой вернулся на свое место, а все, кто был в комнате, обернулись и уставились на меня. Когда до меня дошел смысл его слов, я нисколько не обиделась – я была польщена высокой оценкой моего женского обаяния. Ведь в достоинствах своего перевода я не сомневалась и без Николая Корнеевича.

И впрямь очень скоро я прославилась на весь Советский Союз при помощи телевидения - именно благодаря своему женскому обаянию. Поскольку на меня посыпались заказы, я перевела стихи молодого поэта из Ганы, сына тамошнего президента или премьера - не помню точно. И поскольку он был Сын, нас пригласили выступить по телевизору – меня и его - он чтоб читал свои поэтические шедевры по-английски, а я соответственно их же по-русски. Я надела нарядное платье с большим декольте, и мы отправились в студию.

Сперва читал молодой поэт, облаченный в бурнус из белой парчи, - был он парень видный, и камера показывала его во всех ракурсах, - потом пришла моя очередь. Уверенный, что теперь камера займется мной, молодой поэт расслабился и сосредоточил свое внимание на увлекательных картинах, которые открывались его взору за моим декольте. А камера, как оказалось, ни на минуту не выпускала его из виду! Весь Советский Союз с удовольствием следил за гаммой чувств, отражавшихся на его лице, - некоторые утверждали, что он даже облизывался. Сколько писем я получила по этому поводу - это была настоящая слава! Не знаю, правда, оценил ли кто-нибудь его поэзию в моих переводах, но это было не так уж важно.

Не мудрено, что я стала уже не так часто приезжать к К.И. – то ли наши интересы начали расходиться, то ли я слишком завертелась в захватывающем вихре вальса писательской жизни. Я не раз потом об этом пожалела, когда было уже поздно. Мне почему-то казалось, что он вечный и с ним ничего не может случиться. Ведь он знал, как себя сохранить в самые трудные времена, не теряя при этом уважения к себе. «Когда другие меняли взгляды, я менял жанры» - лукаво усмехаясь, объяснял он.

Но как ни долго предполагал жить **К.И.,** в конце концов, наступил тот грустный - а точнее трагический, потому что смерть К.И. была внезапной и необъяснимой, - день, когда я, стоя в скорбной толпе провожающих, смотрела на его желтую щеку на фоне каких-то неуместных красных полотнищ. Странно, но ничего кроме желтой щеки на фоне красных полотнищ не запомнилось мне из этого похоронного дня.

Вместо него я бережно храню в своей памяти другой день и другую картину, представленную мне незадолго до смерти К.И. Картину, столь полную красочных деталей, будто все это случилось вчера.

В нашем крохотном "Москвиче" мы привезли в Переделкино Бена Сарнова с женой Славой и одного харьковского литератора, которого они хотели познакомить с Виктором Шкловским, жившим тогда в Доме Творчества. Кроме нас пятерых мы втиснули в машину нашего девятилетнего сына Володю и восьмилетнего сына Сарновых Феликса.

Мы подъехали к воротам Дома Творчества и начали выгружаться из "Москвича". Первыми выскочили мальчики и тут же затеяли щенячью возню прямо на глазах многочисленных советских писателей, прогуливающихся после обеда. Вслед за мальчиками из машины выбрались Сарновы, потом мы с Сашей, и последним - слегка оглушенный харьковский гость, который всю дорогу сидел на заднем сиденье, зажатый между мной и Славой, сдерживая воинственный натиск двух мальчишек, примостившихся у него на коленях. При виде такой длинной процессии, выползающей из недр такой маленькой машины, писатели, благодушные после сытного приема пищи, пришли в восторг. Каждого нового пассажира, выбирающегося наружу, они встречали аплодисментами и криками: "Много вас там еще осталось?"

В самый разгар всеобщего веселья наш Володя умудрился разбить сарновскому Феликсу голову подобранным на обочине дороги камнем, и к общему хору добавился отчаянный рев пострадавшего в сопровождении сердитых воплей его матери, пытавшейся поймать Володю и дать ему затрещину. Володя ловко уворачивался, с громким смехом лавируя в писательской толпе. Писатели восприняли эту мизансцену как продолжение спектакля и стали скандировать, указывая на меня: "Мать Каина! Мать Каина!" С какой стати они решили считать Феликса Авелем - ума не приложу.

На шум из ворот выбежала очень маленькая, очень худенькая, очень старая женщина в малиновых штанишках до колен, и все замолчали и уставились на нее - в те времена даже к строгим женским брюкам еще не привыкли, а уж о малиновых штанишках до колен и говорить не приходилось. В руке она держала нечто, похожее на сушеную голову облысевшей обезьяны.

Она простерла руку с обезьяньей головой в сторону Славы. Даже Феликс перестал рыдать, так что слова ее прозвучали очень громко в наступившей тишине:

- Слава, милая, вы не знаете, как открыть кокосовый орех?

- Господи, Лиля Юрьевна, мне бы ваши заботы, - ответил за Славу Бен, носовым платком утирая кровь с разбитого лба Феликса.

- Неужели это Лиля Брик? - спросил харьковский гость задрожавшим от благоговения голосом.

Но ответа не дождался, потому что начался следующий акт послеобеденного спектакля. Лиля Брик вдруг пронзительно взвизгнула, сунула орех Славе и припустила бегом куда-то вверх по улице. Все присутствующие повернули головы - посмотреть, куда это она помчалась. Навстречу ей, широко раскинув руки, шагал Корней Чуковский, высокий, лихой и моложавый - в распахнутом светлом плаще с развевающимся на ветру шарфом.

Лиля с разбегу вскочила на него, и уцепившись одной рукой за его плечо, начала кулачком другой колотить его по лицу.

- Негодяй! Старый негодяй! Шутник проклятый! - вопила она, дрыгая в такт ударам маленькими ножками в малиновых штанишках.

**К.И.** взял ее за локотки и бережно опустил на землю. Глаза его сияли знакомым мне игровым огнем. Голос его был сама невинность;

- В чем дело, Лиля Юрьевна? Чем я провинился?

- Этот человек еще спрашивает? Он не знает, чем он провинился!

- Понятия не имею, - развел руками **К.И.**

- Хватит притворяться! - возмутилась Лиля Юрьевна. – Ведь вы дали мне вчера пачку горчичников?

- Дал, конечно, дал. Вы же жаловались на кашель,

- И не заметили, что это не горчичники, а мухоморы?

Заметить разницу невооруженным глазом было бы трудно. Мало кто помнит, как выглядел мухомор того времени – не дурманный гриб, так упоительно описанный Виктором Пелевиным, а патентованная ловушка для мух, представлявшая собой серовато-коричневый прямоугольник, на оборотной стороне которого невзрачными черными буквами было напечатано слово «МУХОМОР». И только этим трудно- читаемым названием мухомор на вид отличался от горчичника, такого же прямоугольного и серовато-коричневого, только на спинке у него красовалось столь же неразборчиво отпечатанное прозвище «ГОРЧИЧНИК». На рабочей стороне горчичника был нанесена пленка из сухой горчицы, тогда как рабочая сторона мухомора была покрыта тонким слоем уморительного яда для мух, внешне неотличимого от горчицы. Оба они благополучно соседствуют среди неотступных видений моего детства - вот я лежу,

обклеенная горчичниками и сладостная теплота прогоняет из моего горла надсадный кашель, а на столе рядом со стаканом теплого молока замочен в блюдечке серый прямоугольник мухомора, густо усыпанный трупами доверчивых мух.

**К.И.** видимо тоже представил себе нечто подобное**.**

- А вы даже не удосужились проверить, что я вам дал? - взликовал он**.**

- Зачем мне было проверять? Я думала - вы порядочный человек. Я легла в постель и обклеила себе грудь и спину. Лежу и удивляюсь, почему не печет... Так и лежала, пока Витя не посмотрел. И как заорет: "Да это же мухоморы!"

- "Да это же мухоморы!" - повторил за Лилей Юрьевной совершенно счастливый **К.И.** - его игра удалась!

Только человек, так понимающий и любящий игру, мог сочинить те дивные сказки, на которых выросли мы и наши дети, и, даст Б-г , еще многие-многие поколения детей, детей детей и детей детей детей. Потому что это сказки настоящего Сказочника.

И даже пострадавший в бою Феликс Сарнов ощутил на себе магическое влияние сказки - по дороге домой он обвел всех серьезным взглядом своих карих с поволокой глаз, чувственная прелесть которых особо подчеркивалась белизной охватывающей лоб окровавленной повязки, и объявил:

- Это был самый счастливый день в моей жизни!

# АННА АХМАТОВА

Я не была близко знакома с Ахматовой. Я видела ее один раз, но она цельно и художественно раскрылась даже в этой единственной встрече.

Не помню, кто меня к ней привел или замолвил словечко, но было мне позволено переступить порог сумрачно-петербургской комнаты, где у правой стены, на полдороге между дверью и окном - окно было против двери, за окном моросил дождь - возвышалась (именно возвышалась, а не стояла) резная кровать красного дерева, на которой возлежала Ахматова, бледная, грузная, в распахнутой на груди ночной сорочке. Ее только на днях выписали из больницы после сердечного приступа, и лицо ее на фоне смятых подушек было желтовато-серым, но это не только не снижало ее царственного статуса, а скорей подчеркивало его.

Подавив естественно возникшее желание поцеловать ей руку, я подошла и остановилась в ногах кровати.

- Что вы, собственно, хотите? - спросила она.

- Я хотела вас увидеть, услышать ваш голос, - лживо пробормотала я, смущаясь объяснить ей, что я вовсе не стремлюсь послушать ее стихи, а одержима эгоистическим желанием почитать ей свои.

- Я теперь всегда спрашиваю, зачем люди ко мне приходят, - объяснила Ахматова, - а то один нахал на днях ворвался ко мне в больницу, чтобы выяснить, кто лучше, я или Цветаева.

Узнав, что я - поэтесса, она сразу догадалась, чего я хочу.

- Вы, небось, хотите почитать мне свои стихи? - спросила она. - Прочтите одно, которое вам особенно нравится.

Срывающимся от волнения голосом я прочла ей свое стихотворение:

Меня пугает власть моя над миром,
над разными людьми и над вещами,
не я, конечно, шар земной вращаю
и управляю войнами и миром,
но есть во мне таинственная сила,
исполненная прихотей и каверз,
чтоб на паркетах люди спотыкались,
чтоб на шоссе машины заносило...

Прикрыв глаза рукой, Ахматова полусидела среди высоко взбитых подушек, и мне было не ясно, слушала она меня или

просто пережидала, пока я закончу. Потом она открыла глаза и властно указала мне на стоящий возле кровати стул с высокой спинкой:

- А теперь садитесь, я вам тоже почитаю.

Она взяла с прикроватной тумбочки рукописный листок и, приподнявшись на локте, начала читать, - как ни странно, голос ее тоже прерывался от волнения:

Плывет в тоске необъяснимой
Среди кирпичного надсада
Ночной кораблик негасимый
Из Александровского сада...

Закончив читать, она устало откинулась на подушки и спросила:

- Ну как?

И хотя я заранее готова была восхититься всем, что она прочтет, и хотя завораживающая музыка стихотворения так соответствовала полумраку комнаты и дождю за окном, четкий внутренний голос сказал мне: "Это не ее стихи!"

И я выпалила, немедленно ужасаясь неловкости возможной ошибки:

- Это прекрасные стихи, но они не ваши, правда?

Она вся засветилась от радости, что мне понравилось:

- Это стихи Иосифа Бродского. Чудные, чудные стихи!

Имя Иосифа Бродского мне ничего тогда не говорило - я его слышала впервые. И потому спросила, опасаясь прозвучать, как тот нахал, что выяснял в больнице про Цветаеву:

- Он хороший поэт, этот Бродский?

Она прикрыла глаза, но не устало, а сладострастно:

- Он такой рыжий! У него такая нежная кожа! Когда он читает мне свои стихи, мне все время хочется погладить его по щеке!

В дверь заглянула сморщенная сиделка, выразительно намекая, что мое время истекло. Я покорно поднялась, удостоившись царственного кивка - знаменитый горбоносый профиль отбросил на подушки крылатую орлиную тень, и я пошла к выходу. Когда я дошла до двери, Ахматова окликнула меня:

- Погодите!

Я остановилась, хотя рука сиделки, вцепившись в мой рукав, настойчиво волокла меня прочь из комнаты. Из белизны подушек на меня глядели блестящие, все еще полные любопытства глаза: - Скажите, а что - у вас и вправду есть такая

власть над миром?

# А.А. и А.А. ТАРКОВСКИЕ – ОТЕЦ И СЫН

С Арсением Александровичем Тарковским мне довелось познакомиться и даже подружиться после того, как он неожиданно для всех написал не просто положительную, но прямо таки восторженную рецензию на мой перевод «Баллады Редингской тюрьмы» Оскара Уайльда. После чего он сам, раскрепостившись от обязательств рецензента, отыскал меня и пригласил к себе – он хотел, чтобы я почитала ему свои стихи.

Я, разумеется, была в восторге, ведь А.А. был тогда уже широко известен в узких кругах – по литературным задворкам бродил неясно кем утвержденный Гамбургский счет, и он числился в нем одним из лучших несправедливо замолчанных поэтов.

Мне жилось тогда, хоть и голодно, но молодо и головокружительно звонко. Очевидно поэтому стихи я писала исключительно мрачные и грустные. А.А. же писал мрачные и грустные стихи независимо от возраста, а согласно своей природе, так что мы сразу нашли общий язык. Мы встречались время от времени, читали друг другу что-нибудь из вновь написанного и обменивались мнениями о том, что происходило вокруг.

А.А., как и многие прекрасные поэты тех лет, был профессиональным переводчиком. То есть стихи он писал в стол, а на жизнь зарабатывал переводами разнообразного стихотворного мусора, неустанно производимого во всех дружных республиках великой советской державы. Стихов он переводил великое множество и страстно эту свою работу ненавидел. Ненавидел столь же страстно, сколь отчаянно боялся ее потерять, ибо была она его единственной кормилицей, и притом кормилицей весьма и весьма щедрой.

Ему было уже за пятьдесят, у него была репутация значительного поэта, но ему, как плохому мальчику для битья, все еще не позволили издать ни одной книги стихов. Появилась надежда, что вот-вот из печати выйдет первый его сборник - «Перед снегом», и он ждал выхода этого сборника с юношеским трепетом: ведь его столько раз задерживали и откладывали! Название сборника было выбрано А.А. не случайно – период перед снегом вызывал у него невыносимую боль в раненной во время войны ноге. Об этой боли напоминали ему страдания,

которые он испытывал перед выходом в свет своей первой поэтической книги.

Оглядываясь на прошедшую жизнь, А.А. любил читать своим хорошо поставленным бархатным баритоном замечательные строки, потрясавшие меня тогда глубиной и верностью выраженного в них отчаяния:

«Для чего я лучшие годы
Погубил на чужие слова?
Ах, восточные переводы,
Как болит от вас голова!»

От этих слов хотелось плакать – и было от чего! Сердце мое надрывалось сочувствием. Впрочем, старинная мебель в благоустроенной квартире у метро Аэропортовская, как и картины в золоченых рамах, мягко поблескивавшие над мягкой пушистостью ковров, внятно отвечали на вопрос, для чего именно поэт погубил свои лучшие годы.

Что поделать – это были гримасы советской эпохи, о которой многие сегодня вспоминают с нежностью и тоской по утерянной благодати. Многие, но не я. Наверно потому, что я, не успевши тогда как следует зачерпнуть густого варева из соцреалистического котла, успела зато вовремя вырваться в другое пространство и вдохнуть разреженный воздух других высот.

Но я сейчас не об этом, а о сыне А.А., знаменитом режиссере Андрее Тарковском, который странным извилистым путем утвердил имя отца на положенном ему месте в русской поэзии.

Звезда Андрея начала быстро восходить где-то на второй-третий год моей дружбы с А.А. Сперва появилось «Иваново детство» и в литературных салонах заговорили о поразительном молодом режиссере, которому прочили большое будущее. К моменту появления слухов о гениальном, запрещенном, но кое-где кое-кем уже виденном фильме «Андрей Рублев», имя Тарковского-сына начало реверберировать в московских либеральных тусовках, заглушая все другие имена.

Естественно, что я жаждала воспользоваться своим привилегированным положением, чтобы познакомиться с прославленным сыном А.А. Но как я ни наводила на него разговор, А.А. не спешил его поддержать. И, бывая в доме, я никогда не видела там признаков присутствия неуютного молодого человека, взбудоражившего умы московской интеллигенции. А ведь это были времена, когда начинающие, пусть даже гениальные, кинорежиссеры вряд ли могли позволить себе роскошь выпорхнуть из родительского гнезда. В конце концов, я набралась смелости и спросила у жены А.А.,

переводчицы Татьяны Озерской, почему я никогда не встречаю у них Андрея.

Я не могла выбрать худшего адресата для своего вопроса. Лицо Татьяны застыло непроницаемой маской, и, наказавши меня ледяным взглядом, она ответила, что Андрей живет у своей матери и здесь не бывает. В результате чего мне открылись новые подробности жизни А.А., о которых я не подозревала – значит, до Татьяны у Арсения была другая жена и Андрей не вхож в дом Татьяны-разлучницы!

И все же однажды я увидела их вместе – отца и сына, они сидели за столиком в ресторане Дома Литераторов. То есть по первому впечатлению А.А. сидел неизвестно с кем лицом ко мне за ресторанным столиком, и я привычно разлетелась к нему здороваться, а может, и присоединиться. Мало что было тогда увлекательней экспромтных посиделок в ресторане Дома Литераторов – можно было оказаться рядом с кем угодно, равно хорошим и плохим, но неизменно интересным!

Однако случилось небывалое - А.А. меня к себе не подпустил. Он предостерегающе поднял руку с заградительно растопыренными пальцами:

- Я занят! У меня родительский час!

И я поняла, что неприязненно повернутая ко мне спина собеседника А.А. принадлежит знаменитому Андрею, но познакомиться с ним мне не удастся. Мне даже не удалось увидеть его лицо – он так и не обернулся поглядеть, с кем говорил отец, и у меня осталось необъяснимое ощущение, что беседа их не была особенно дружеской.

Впрочем, еще через несколько лет, когда мне посчастливилось еженедельно видеть лицо Андрея крупным планом в двух шагах от себя, я усомнилась в своих умозаключениях и укрепилась в уверенности, что он вообще не склонен к дружеским проявлениям к кому бы то ни было.

Я тогда была слушательницей Высших сценарных курсов, где Андрей читал курс режиссуры. Он не столько читал курс, сколько показывал нам свои любимые фильмы, снабжая их краткими комментариями. С его подачи я впервые познакомилась с творчеством Луиса Бюнюэля, который в те годы был практически неизвестен в России. Один известный литератор даже с пеной на губах отрицал наличие в мировом киноискусстве какого-то Бюнюэля, ссылаясь на то, что он о нем никогда не слыхал.

Из уст Андрея Арсеньевича я впервые услышала не только имя Бюнюэля, но и обоснование эстетики торжествующего уродства. Как он любил смаковать изощренный садизм «Андалузского пса», как увлеченно посвящал нас в интимные

подробности режиссерской работы над оргией нищих в «Веридиане», с каким трепетом открывал нам секреты фрейдовских подтекстов «Дневной красавицы» и «Дневника горничной»! И неспроста – уж кому, как не ему надлежало быть знатоком фрейдовских подтекстов в жизни и в искусстве!

После его лекций мне открылась природа режиссерского восторга при съемках душераздирающих сцен из «Андрея Рублева», где щедро заливают расплавленную смолу в глотки и натурально выковыривают глаза из глазниц. И стало понятно, что душа человека и режиссера Андрея Тарковского раздираема вечной неизбывной мукой, от которой нет убежища, нет спасения.

С еще более обостренным выражением этой неизбывной муки в фильмах Тарковского мне пришлось столкнуться через много лет, когда я приехала из Израиля на Каннский фестиваль.

Первым, что неприятно-назойливо бросилось мне в глаза в Каннах, было стремление всех и каждого попасть в ассортимент и приобрести марксово качество товара. На этом стремлении помешались все - и сотни голых девушек разных цветов и рас, целыми днями зябнущих на продуваемом ветром пляже перед Пале Фестиваля, и обезумевшие от напряжения кинозвезды, и понукаемые ненасытными продюсерами режиссеры. Некоторые из них достигли такого совершенства, что, сходу миновав потерявшую рыночную ценность стадию искусства, научились изначально придавать своим творениям откровенно товарный вид. И потому искусством фестиваль порадовать не мог. Там предлагали и принимали в расчет только товар, - ничего, кроме товара!

Я сама приложила уйму усилий, чтобы к началу вечернего просмотра нового фильма Андрея Тарковского придать товарный вид и себе. Кажется, мне это вполне удалось - я удостоилась десятков вспышек и щелканья фотокамер у входа в Пале фестиваля: там загодя толпится стадо фотографов, снимающих всех, имеющих товарный вид. Ведь любой из них может оказаться Кем-Нибудь, если не сегодня, то завтра, и тогда публикация его портрета сразу окупит расходы на пленку, ужин и проезд в Канны.

Поток достойных фотографирования, шурша, вливался по дворцовой лестнице в новое здание Пале, где эскалаторов было не меньше, чем коридоров, а коридоров было столько, что никто никогда не мог бы дважды прийти в одну точку.

Здание это, похожее на аэропорт, нависающий над Средиземным морем, только-только открыли, навек покончив с хваленым кофейно-круассанным уютом Каннского фестиваля. Архитектура нового Пале лишена всякого уюта в соответствии с

мироощущением современного человека: участники фестиваля часами мечутся по его неоглядным просторам среди стерильно-белых, ослепляющих афишной пестротой стен в поисках входа, выхода, буфета, туалета, оргкомитета, пресс-центра, просмотрового зала, своих друзей и самих себя. Возникающее в результате душевное состояние очень способствует правильному восприятию последних достижений кинопромышленности.

Единственно, когда невозможно потеряться в лабиринтах нового Пале, это перед началом вечернего просмотра, который и есть ключевой момент фестивального дня, его апофеоз и его катарсис, его магнитный, электрический, эмоциональный и финансовый полюс. Перед вечерним просмотром поток допущенных к священнодействию, зорко охраняемый цепочкой полицейских в мундирах, стройно и целеустремленно течет только в одном направлении, ко входу в зрительный зал.

Узкой извилистой лентой, строго очерченной сизой стеной полицейских мундиров, струился поток черных такседо по зелени дворцовой лужайки. 'Такседо, такседо и только такседо!" – заранее предупредили счастливцев, допущенных на вечернее таинство, устные и письменные правила фестиваля. Это замечательное слово, напоминающее по звучанию магическое заклинание, обозначает вовсе не актерский талант и не режиссерское умение. Оно обозначает пиджак типа смокинга - с длинными фалдами и атласными отворотами, без которого особи мужского пола не удалось бы проникнуть в Большой зал Пале, даже обладай она сотней других, не менее важных достоинств.

Множество особей мужского пола молчаливой процессией продвигались к полукруглому порталу, оправляя на ходу длинные фалды и атласные лацканы своих такседо, делающих их всех похожими на официантов ресторана "Карлтон-отеля". А может, некоторые и впрямь были официанты, получившие в свой отгульный вечер чаевые в виде заветных приглашений, - кто их знает, ведь не все же здесь Годары и Феллини.

В черное тут и там были вкраплены яркие блестки дамских вечерних туалетов, капризом моды разделенных на два типа - длинные до полу и короткие до причинного места. Я тоже медленно маршировала вместе со всеми, подавленная торжественностью молчания и пронзительной волной зависти, которая физически ощутимо исходила от напирающей из-за полицейских спин толпы зевак на набережной Круазетт. Эта зависть обжигала лицо и проникала за шиворот, вызывая по всему телу колючие мурашки, так что я с облегчением покинула зеленую упругость лужайки и начала восхождение по лестнице, ведущей в зал.

В добрые патриархальные времена старого Пале восхождение это состояло из семи гранитных ступеней крыльца, плавно переходящих в короткий мраморный марш вестибюля. У крыльца плотным заслоном дежурили полицейские, вниз к морю еще плотней прессовались любители кино.

Лестница нынешнего Пале пологой спиралью уходила вверх, создавая впечатление, что она завершится взлетной полосой, откуда устремленная вверх стая черных такседо, обретя к концу пути подъемную силу, дружно взмоет туда, где только небожители собеседуют с небожителями. А вслед за ними их дамы - те, что в длинных платьях, придерживая юбки, а тем, что в коротких и придерживать нечего, - но зато какое удовольствие следить за ними снизу, пока сам еще не взлетел!

Я поднималась неспешно и чинно вместе со всеми, жертвенно готовая взлететь вместе с другими, если понадобится. Стены лестничного марша были плотно оклеены афишами предстоящего фильма. Они повторяли многократно в такт шагам одно и то же слово, зеленое по темно-коричневому полю:

"НОСТАЛЬГИЯ"

"НОСТАЛЬГИЯ"

"НОСТАЛЬГИЯ"

И так двадцать шесть раз, без перерыва. То есть я насчитала двадцать шесть ностальгий, но было их там намного больше, ведь я не сразу принялась считать. И под каждой ностальгией стояло имя режиссера - Андрей Тарковский, производство СССР-Италия.

Огни в зале были уже пригашены, создавая впечатление последних золотистых сумерек, в мерцающем полусвете которых особенно четко вырисовывалась огромная, как летное поле, сцена, опоясанная бессчетными глиняными горшочками с пенистыми розовыми цветами. Позади сцены круто взмывало под крышу неоглядное полотнище экрана - Экрана с большой буквы, - оно упруго трепетало под напором крылато нацеленных в него крупных и мелких тщеславий.

В центре сцены под сенью Экрана печальным ангелом стоял Андрей Тарковский, бледное треугольное лицо его все время нервно подергивалось, вскидывая левый угол усатого рта к затравленному лермонтовскому глазу. Конечно, он стоял там не один, а окруженный суетливой сворой распорядителей, соучастников и переводчиков, но их присутствие нисколько не сглаживало и не смягчало того непроницаемого одиночества, которое досталось ему откуда-то свыше вместе с лермонтовскими усами в придачу к строчке "выхожу один я на дорогу".

"Понятие "ностальгия", - обратился Тарковский к залу по-

русски, и переводчики торопливо залопотали в микрофоны по-своему, нисколько не нарушая этим его одиночества, - непереводимо ни на какой иностранный язык. Только по-русски оно означает так много, только по-русски оно так емко: здесь и тоска по родине, и тоска по утраченной молодости, и многое другое".

В зале захлопали, свет погас окончательно, и по экрану поползли титры.

Над мокрым, скудно освещенным полем клубился туман, его рваные клочья колыхались в почти полной тьме, то разрежаясь слегка, то сгущаясь в непроглядные комья. Где-то за туманом ехала машина, увидеть ее было невозможно, но сквозь туманную глухомань иногда пробивалось надсадное ворчание мотора. Туман клубился и полз, клубился и полз, клубился и полз, а машина тужилась прорвать его и выехать в поле зрения, но никак не могла. Это длилось так долго, что у меня даже зубы заныли; в зале перешептывались и кашляли. Наконец хлопнула дверца - похоже, машина осознала тщету своей борьбы с туманом и сдалась.

Женский голос приглушенно сказал по-русски с сильным акцентом:

- Вот и прыехальи!

А мужской ответил резко, на смеси русского и итальянского:

- Я ведь просил, парле итальяно, пожалуйста!

Но женский не унимался:

- Поглядьи, как красыво! - воскликнул он и тут же поспешно перевел восторг на итальянский, это уже на бегу, удаляясь в сопровождении чавкающего припева башмаков по жидкой грязи.

Сердитый мужчина за голосом в болото не последовал, он остался где-то поблизости, еще раз хлопнул в темноте дверцей и проворчал ненавистно по-русски:

- В гробу я видал ваши красоты, чтоб вы ими подавились!

И опять заклубился туман, наползая и отползая, сгущаясь и разрежаясь, пока в белесой его дымке не прорезалось светлое окошко; в окошке взбежали на пригорок деревянные дома русской деревни. Из туманных хлопьев вынырнуло мужское лицо на негативном отпечатке кинопленки, так что лицо выходило черным, а волосы белыми. Негативный мужчина тоскливо смотрел из тумана, как в далекой русской деревне маленький мальчик взбегает на пригорок, откуда машет ему женщина с венком кос вокруг головы. Тугие косы эти строго обвивали шелковистую округлость ее затылка и короной возвышались надо

лбом, не в пример неорганизованной гриве обладательницы итальянского акцента, вынырнувшей со временем из туманной тьмы начальных кадров в дождливую полутьму последующих.

Символика "ностальгии" постепенно проступала сквозь мутную сетку дождя, заливающего экран: герой его, Андрей Горчаков (надо же, какая фамилия красивая, нет, чтобы Горшков или Торчков, как это в жизни бывает) помогал режиссеру Андрею Тарковскому преодолеть Эдипов комплекс его предыдущего фильма "Зеркало". В свете этого мучительного преодоления становилась понятной непреходящая черная меланхолия нашего двуликого Андрея, приехавшего из солнечной России в промозглую от вечной сырости Италию, чтобы увидеть наконец воочию те памятники средневековой архитектуры, о которых он в течение многих лет читал лекции студентам. Ведь его томит ностальгия по семейному уюту "Зеркала", где он был счастливо женат на собственной матери - как говорится, "и дома, и замужем".

Факт этого кровосмесительного брака удостоверяется в "Зеркале" не только тем, что режиссер поручил роль и матери, и жены героя одной и той же актрисе, не затрудняя ее даже переодеванием и гримом, созвучным эпохе, но и тем, что в глазах матери-жены сын-мальчик то и дело занимает место мужа-мальчика, так что к концу фильма вовсе непонятно, кто кому кем приходится. И последнюю точку над "i" ставит отсутствие в фильме отца, то ли арестованного, то ли погибшего на фронте, но в любом случае безжалостно удаленного режиссером из экранной жизни согласно канонам Эдипова комплекса, чтобы обеспечить себе ничем не замутненный союз с матерью.

В "Ностальгии" почти преодоленное стремление героя жениться на собственной матери прорывается только изредка, когда он в ностальгическом отчаянии пытается жену "уматерить" и когда сам не знает, кто же этот мальчик, взбегающий к дому на пригорке, - он сам или его сын. Зато проблему отца режиссер решил воистину мастерски: не впуская его на экран и таким образом увиливая от непосредственного общения с объектом слишком недавней и потому неостывшей еще ненависти, он часто и подолгу читает вслух его стихи.

Тут уж вовсе смешались все сознательные и подсознательные потоки, обильно орошаемые потоками текущей по экрану воды: по фильму стихи принадлежат перу Андрея Горчакова, по жизни - перу Арсения Тарковского, моего старого приятеля, с горьковатой (горчаковатой) иронией сказавшего после успеха "Андрея (опять Андрей, что за наваждение! - а ведь это "муж" по-гречески) Рублева":

"Если раньше девушки спрашивали, кто этот вертлявый юнец, им отвечали: это сын знаменитого поэта Тарковского. Если теперь девушки спрашивают, кто этот хромой старик, им отвечают; это отец знаменитого режиссера Тарковского".

Тут уж весь фрейдовский расклад налицо: и соперничество поколений, и соперничество поэзии с кино, и соперничество мужское - за благосклонность прекрасных дам. Но за годы, протекшие (ведь у Тарковского все именно течет, а не передвигается каким-либо иным способом, - и время, и стихи, и судьбы) между "Зеркалом" и "Ностальгией", юношеское неприятие отца у Андрея, постепенно остывая, переплавилось в форму идеологического к нему почтения, свойственного зрелости.

Враждебность, правда, еще не остыла настолько, чтобы допустить физическое присутствие отца в кинопространстве, но голос его поэзии уже заполняет все эмоциональное пространство фильма, преображаясь там в некое видимое Божество, витающее над водами. Этот образ вовсе не условный, ибо многие кадры "Ностальгии" представляют собой разнообразные эффектные сцены "из жизни воды" - потоки, заливающие нижние этажи заброшенных зданий; хлюпающие мокротой болотистые луга; радужный пар над горячими источниками; прозрачные струи, омывающие позеленевшие от времени скульптуры, и т.д. - озвученные пространным чтением стихов Арсения Тарковского.

Пригасив свою неприязнь к отцу, Андрей уже не столь страстно стремится к союзу с матерью, и потому намеки на ее отождествление с женой Горчакова не так прозрачны, как в "Зеркале", зато жена попрежнему олицетворяет собой покинутую героем мать-Родину.

Вот тут-то и начинаются загадки. Сюжетно все вроде бы просто: Андрей Горчаков, специалист по итальянской архитектуре эпохи Возрождения, приезжает в Италию пощупать собственными руками старинные камни, которым отдано его сердце.

Казалось бы - щупай и радуйся, что добрался, так нет: наш Андрей сразу по приезде оказывается во власти неодолимой тоски по собственному детству с домом на пригорке (или он только в Италии осознал, что уже не мальчик?), по оставленной в России жене, той, что с венком кос надо лбом, по сыну, взбегающему на пригорок, который сливается в его сердце с памятью о себе, взбегающем на пригорок; и по Родине, сливающейся в его сердце с образом жены. Тоска эта столь же неизбывна, сколь необъяснима, и потому хочется спросить у самого Тарковского, отчего это его герою так плохо.

Просматривая беседу Тарковского с каким-то дотошным итальянским журналистом, прорвавшимся к режиссеру перед

самым началом съемок, натыкаюсь на провокационный вопрос: как режиссер думает увязать свое пессимистическое восприятие мира с оптимистическим образом жизни Италии? Режиссер отвечает уклончиво и невнятно: "пессимизм его продиктован глубоким беспокойством за человечество и потому не может быть преодолен просто при помощи жизнеутверждающих склонностей итальянского обывателя". Раскрыв таким образом свою задачу не допустить победы бездумного оптимизма над обоснованным пессимизмом, режиссер честно сделал все возможное, чтобы эту задачу выполнить. Италия "Ностальгии" - это мрачная страна безлюдных руин, неосвещенных колоннад, заболоченных полей, полузатопленных домов, замусоренных улиц. Смотришь - и диву даешься: и как они там живут, бедняги? Так и хочется спросить участливо, как спросила внучка Корнея Чуковского, услышав, что дед жил при царе: "Бедненький, как же ты выжил?"

Вялую покорность, с которой итальянцы принимают свое беспросветное существование, можно оправдать разве что умственным и духовным их убожеством: как бессловесные призрачные тени, бродят они по мрачным храмам, ютятся в затопленных подвалах разрушенных городов среди свалок и болот, часами мокнут в водах горячих источников, сливаясь постепенно с радужными парами, клубящимися над их безвольными головами.

Единственный человек, который "звучит гордо" и потому удостаивается чести быть допущенным в собеседники возвышенного героя Тарковского, это сумасшедший профессор математики Доменико, разделяющий пессимизм Горчакова и дополняющий его по противоположности. Сам Тарковский так характеризует Доменико: "Он, подобно беззащитному ребенку, действует безотчетно и безрассудно, восполняя таким образом то, чего недостает Андрею".

Пока безутешный Андрей медленно и со вкусом переливал свою тоску из одного мокрого кадра редкой красоты в следующий не менее мокрый и не менее прекрасный кадр, большая часть зрителей успела разбежаться: вокруг меня то и дело слышались мягкие щелчки покинутых кресел и поспешные шаги беглецов. Непереводимая русская ностальгия никак не укладывалась в рамки "простой любовной истории", обещанной Тарковским, ни в глазах заскучавших зрителей, ни в душе пышноволосой переводчицы Горчакова Евгении, в которую он, по замыслу автора, влюблен.

Любовь Андрея к переводчице - это специфически российская любовь, описанная во многих романах и анекдотах: влюбленный герой, не соглашаясь на приятную интрижку,

требует от легкомысленной итальянки только полной отдачи, полного взаимопонимания и преображения ее в привычную ему Мать с большой буквы, ибо ищет не радости, а страдания.

Вслушиваясь в сердитое итальянское стрекотание Евгении, я разделяла ее недоумение: чего ему надо? Почему он отказывается с ней переспать? Почему он требует от нее того душевного слияния, которое сам признал невозможным? Для чего он ставит перед собой неразрешимые задачи?

Пока я пыталась ответить на эти вопросы, Андрей тихо лежал на кровати в затемненной комнате с одним-единственным окном, выходящим в залитый слезами дождя сад. Он лежал тихо и неподвижно, как мертвый, силуэт его был едва различим в мутной полутьме комнаты. Секунды стекали по стеклу дождевыми каплями, перерастая в минуты - бегство из зала приняло повальный характер, так что топот многих ног заглушал иногда шорох дождя. К исходу третьей минуты в глубине комнаты появился едва различимый силуэт собаки, собака вскочила на кровать рядом с неподвижно распростертым Андреем, слилась с темнотой и тоже замерла.

Секунды потекли еще медленней, наполняя зал ощущением отчаяния, невыносимого до боли в суставах, а к концу пятой минуты полной неподвижности и тишины в комнате слегка прояснилось и оказалось, что на кровати рядом с Андреем лежит женщина с венком кос вокруг головы, беременная - где-то на последнем месяце. При виде ее огромного, чуть не до потолка вздутого живота Андрей вскакивает, как ужаленный, и выбегает из комнаты, чтобы увидеть, как маленький мальчик взбегает по залитой солнцем дороге к дому на пригорке, откуда машет ему все та же вездесущая обобщенная Мать в венке кос, на этот раз уже не беременная ни им, ни его сыном.

Вот тут-то и пришлись кстати стихи обобщенного отца, Арсения Тарковского, в изобилии прочитанные голосом Горчакова над стоячими, текучими, летучими и прочими водами, - похоже, они помогали ему избавиться от тяжкого комплекса вины.

Вины перед кем? Вины за что?

Ведь Горчаков, безвольно скользя по течению фильма, не совершает ни одного поступка, ни хорошего, ни плохого, так что ему нечего стыдиться, как, впрочем, нечем и гордиться. И даже когда его единственный друг, безумный Доменико, выходит на площадь, чтобы совершить тщательно подготовленное самосожжение, цель которого - доказать миру, что безумен мир, а не Доменико, Андрей не пытается предотвратить самоубийство и остановить друга. Он только, уподобляясь белому медведю в

зоопарке, долго-долго бегает по пояс в воде по затопленному залу какого-то дворца, прикрывая полой пальто крохотное дрожащее пламя зажженной им в знак солидарности с Доменико свечи, и шепчет при этом голосами всех трех чеховских сестер: "В Москву! В Москву! В Москву!"

Я вышла из зала, пытаясь убедить себя, что Андрей Тарковский, создатель "Андрея Рублева" и "Сталкера", искренне полагает, будто только "в Москве" существует истинная любовь (с венком кос надо лбом), истинная высокая духовность (давно утерянная растленным капиталистическим обществом) и истинная связь человека с природой (давно прерванная обывательским образом жизни Запада, ценящего комфорт превыше всего). Впрочем, насчет комфорта я сразу с ним согласилась; ведь я еще не совсем забыла прелести русского комфорта, приближающего к природе особенно хорошо при помощи зимнего сортира на улице без слива и отопления.

Я переворачивала детали фильма и так, и этак, пытаясь прочесть замаскированную художественную весть его автора, но ничего путного не выходило. Я чувствовала себя как традиционный сыщик из детективного романа, каждое хитроумное построение которого разваливается из-за какого-нибудь очередного несоответствия. Недостающую деталь мне подкинули непредвиденные события следующего дня.

Рано утром меня разбудил телефонный звонок: группа голландских тележурналистов умоляла меня помочь им взять интервью у Тарковского, который отказывал им, ссылаясь на отсутствие его англо-русского переводчика. Я немедленно согласилась, подогреваемая нестерпимым любопытством. Услышав, что переводчик есть, Тарковский пообещал выделить голландским ребятам пятнадцать минут через полчаса, так что они еле-еле успели за оставшееся время дотащить до "Карлтон-отеля" тяжелую аппаратуру. Впрочем, они были так счастливы своим успехом, что аппаратура не казалась им тяжелой.

Из вестибюля они позвонили в номер Тарковского, как было договорено. Телефон не отвечал. Я, конечно, сразу учуяла недоброе, но наивные голландцы, все еще ликуя, поволокли свои камеры и прожекторы на третий этаж, к дверям номера Тарковского. На стук никто не ответил. Я молчала, предвидя знакомый исход. Мальчики продолжали стучать все настойчивей, не понимая, что могло случиться: ведь Тарковский полчаса назад пообещал, что будет ждать их в номере. Вдруг дверь соседнего номера распахнулась, на пороге возник средних лет сухощавый молодец, на лице которого стояла несмываемая печать той организации, которой он служил в чине не ниже майора.

- В чем дело? - спросил он по-английски со следами русского акцента.

- Мы от голландского телевидения... господин Тарковский... интервью... - залопотали наперебой неподготовленные к подобным инцидентам мальчики. Я не вмешивалась, понимая, что могу только навредить.

- Господин Тарковский не может дать интервью, у него нет переводчика, - отрубил майор непререкаемо.

- А у нас есть. Вот переводчица... она согласна... и господин Тарковский тоже...

Наметанным профессиональным взглядом майор охватил все детали моей семитской внешности, быстро и умело пропустил их сквозь личный черепной компьютер и выдал отрицательный ответ:

- А мы не пользуемся переводчиками со стороны. Если надо, приглашаем своих, - и приготовился захлопнуть дверь.

Оператор, которому пришлось нести особо тяжелые части оборудования, ухватился за ручку двери, как за последнюю соломинку, и потащил дверь на себя.

- Но господин Тарковский нам обещал! Он обещал нам! - кричал оператор так отчаянно, словно приглашал самого Господа Бога в свидетели творящейся несправедливости.

Майор опять быстро пропустил нужные данные через черепной компьютер - на этот раз ответ был положительный: он бросил взгляд через плечо внутрь комнаты, застывшей в напряженной тишине. Оттуда, словно марионетка на ниточке, быстро выбежал взъерошенный Тарковский, повторяя на бегу одну и ту же фразу-заклинание, будто она была запрограммирована в нем, как в шарманке:

- Я никому ничего не обещал! Я никому ничего не обещал! Я никому ничего не обещал!

- Вот видите, господин Тарковский никому ничего не обещал, - проворковал майор с отеческим укором, но ласково, очевидно прощая глупым мальчикам их ребяческую ложь, и на этот раз закрыл дверь беспрепятственно, одним движением смахнув при этом Тарковского внутрь комнаты.

Мальчики уныло поволокли свое оборудование по коридору к лестнице, а я осталась стоять перед закрытой дверью, отмеченной лишь обычной гостиничной табличкой с номером, пригвожденная к месту внезапным прозрением. Несовпадающие детали загадочного фильма "Ностальгия" производства СССР-Италия вдруг встали на свои места, словно в детской картинке-загадке "найдите зайчика". Я ясно увидела зайчика, затаившегося в сложном переплетении маскировочных линий, и теперь уже не

могла понять, как это я не замечала его раньше, - ведь он просто бросался в глаза!

Не в силах совладать с темной волей своего подсознания, режиссер попытался раскрыть трагедию советского человека в заграничной командировке, который страстно мечтает остаться на Западе и никогда-никогда-никогда не возвращаться в родную тюрьму. Стоит только поднять этот скрытый от прямого взгляда подтекст, и немедленно исчезают все неясности, все смутные места, все доселе не поддающиеся объяснению метафоры фильма. Вот женщина в полутьме храма открывает крышку огромной плетеной корзины, висящей на стене, и оттуда вылетают десятки птиц, они взмывают в светлый простор небес, поток их бесконечен, и нельзя представить, как они все могли уместиться в корзине. Ах, как душа просится на волю, из плетеной клетки корзины, из замкнутого пространства в простор неба! Как же тут не затосковать, не заболеть черной меланхолией, не упасть ничком на темную кровать, затиснутую в угол продрогшей от сырости комнаты. А женщина с венком кос надо лбом уже тут как тут, сторожит, намекает на кровное родство, не отпускает из плена, то заманивает памятью детства, то голосом отца, то суровым приказом Родины. Как говорится, и хочется, и колется, и мама не велит.

Что же сделать, чтоб не так хотелось, чтоб не так кололось, чтоб мама не сердилась?

Лучшее средство - зажмурить глаза, заткнуть уши и громко кричать: "Чур меня! Чур!"

Для этого Италию следует представить мрачной страной полузатопленных домов и замусоренных улиц, по которым бродят призрачные тени неудачников. И повторять, как заклинание:

- В Италии никогда не светит солнце! В Италии всегда идет дождь! В Италии только безумцы еще не потеряли связи с природой, не погрязли окончательно в болоте буржуазного комфорта! В Италии невозможно жить!

Главное - повторять это так долго и настойчиво, чтобы самому в это поверить. А на случай, если поверить до конца все же не удастся, следует пустить в ход более сильные средства.

Простейшее из этих средств сводится к унылому припеву, подхваченному у двух загулявших купчиков, пытавшихся помочиться на роскошное зеркало в фойе парижского ресторана: «Все равно, они нас не поймут!»

А раз они нас не поймут, то и нам понять их невозможно, да и стоит ли их понимать? От природы они оторвались, погрязли в буржуазном комфорте, статуи эпохи Возрождения захламили обертками от мороженого и апельсинными корками, памятники

старины запустили до непотребной зелени - деньги на чистку жалеют, и главное - ничего не хотят сделать ради собственного спасения.

Только и остается зажечь свечу негасимого духа, прикрыть ее полой пиджака, чувствуя себя при этом спасителем человечества, и метаться по пояс в воде, заклиная голосами всех трех чеховских сестер:

- В Москву! В Москву! Чур меня, чур! Я никому ничего не обещал!

Впрочем, никакие заклинания не помогут - потому что обещал: майору из соседнего номера, замаскированному то под мальчика, взбегающего на пригорок, то под большеглазую женщину с короной кос надо лбом, да еще к тому же беременную на последнем месяце.

Обещал хранить верность до гроба.

Обещал не хотеть жить на свободе, а рваться назад, в Москву, где все презирают буржуазный комфорт, где обертки от мороженого и апельсинные корки (если таковые есть с чего счистить) бросают строго в урны, где все памятники старины надраивают до блеска медных пуговиц и где всегда будет солнце, где всегда будет небо, где всегда будет Мама, где всегда буду Я!

И от этого "всегда" развивается ностальгия, истинно русская, многозначная, непереводимая на другие языки. Обоюдоострая ностальгия - по навеки недоступному манящему Западу и по России, покинутой в мечтах, но неотторжимой, как родовое проклятие.

Коричнево-зеленая ностальгия, мутная, как стоячая вода, как непролазный туман, как непреходящий дождь, доведенная до такой концентрации страдания, из которой возможен только один выход - в искусство.

Вот вам и парадокс: в искусство, а не в товар.

В ЕДИНСТВЕННЫЙ ПРЕДМЕТ ИСКУССТВА НА ЭТОМ ФЕСТИВАЛЕ!

Да здравствует искусство! Да здравствует Ностальгия!

## ПОСЛЕСЛОВИЕ

Доброхоты сообщили мне, что Андрей Тарковский страшно на меня обиделся за статью о фильме «Ностальгия», напечатанную в журнале «22». Может быть, он был прав – моя статью вряд ли можно было считать комплиментарной, а того, что я назвала его фильм единственным произведением искусства на Каннском фестивале, он или не заметил, или не счел важным.

К тому времени он уже успел преодолеть свою ностальгию

и попросить политического убежища на бездуховном Западе, а вскорости тяжело и безнадежно заболеть. И я приложила все усилия, чтобы как-то смягчить обидные суждения своего эссе – я писала ему письмо за письмом, но никогда не получила ни строчки в ответ.

Так он и умер, оставив меня непрощенной. Владимир Максимов рассказал мне, что писем моих он не читал, а сразу выбрасывал, не распечатав.

Прошло еще несколько лет. Как-то летом, когда мы жили «на даче» в глухой немецкой деревне, к нам в гости приехал Георгий Владимов с женой Наташей, ныне покойной. Наташа была женщина вострая и стремительная, она была знакома со «всеми» в русском зарубежье и вела дневник, куда каждый день вписывала детали всех встреч и разговоров, грозясь однажды их опубликовать.

Речь зашла о Тарковском, и Владимов сказал:

- Вы в своей статье очень обидели Андрея.

- Неужто обидела? Чем обидела? – спросила я так неискренне, что самой стало противно. Ну конечно, обидела, и еще как! Однако ответ Владимова сбил меня с толку:

- А тем, что написали, будто он выпивал с кагебешником!

Я была ошарашенна таким неправдоподобным предположением – чтобы Андрей Тарковский выпивал с кагебешником? Ну уж нет! Однако, быстро перестроившись, я заняла оборонительную позицию:

- Я ничего подобного не писала. Я написала только, что когда голландские киномальчики пришли брать интервью, Андрей был в его комнате.

- Неважно, что вы написали, - отмахнулся от моих оправданий Владимов. – Важно, что они ведь и вправду там выпивали.

# Нонна Мордюкова

# На фоне Гефсиманского сада

Где-то к весне 1986 года советская власть дала такую течь, что сначала отдельные брызги, а потом уже и внушительные потоки начали достигать средиземноморских берегов. На горизонте замаячили разлученные с нами, казалось, навсегда силуэты, постепенно приучая к мысли, что в железном занавесе и вправду наметилась прореха.

Приехал с гастролями Булат Окуджава и безбоязненно пел в Тель-Авивском Дворце культуры перед двумя тысячами отщепенцев и предателей. Он пел, а предатели дружно плакали от умиления и восторга. Вслед за Окуджавой в Тель-Авив прибыла делегация почтенных физиков под водительством вице-президента Академии Наук СССР Юрия Осипяна. Он не побоялся открыто сидеть с нами в прибрежном кафе на площади Атарим, как будто в газете «Известия» совсем недавно не поливали грязью Воронеля, а мне лично не посвятили обличительную книжонку «Накипь».

Там, в кафе, разнеженный шорохом прибоя вице-президент, потягивая из высокого бокала манговый сок, поведал нам, как его любимый босс, Михаил Горбачев, читал внучке вслух стихи Пушкина из хрестоматии «Родная Речь». Прочел он ей строку: «Роняет лес багряный свой убор...», и затосковал:

«Какие слова люди придумали, - пожаловался он, - «багряный свой убор»! А я такую херню пишу!»

И мы поняли, что ничто человеческое не чуждо даже первому секретарю ЦК КПСС.

Вскоре к нам косяком повалили гости, и открылась бездна, звезд полна.

Первой звездой взошел на иерусалимские небеса опальный кинорежиссер Александр Аскольдов, прихвативший с собой свой, по легенде смытый советским властями, но чудом сохранившийся, бескомпромиссный фильм «Комиссарша». Никто, кроме начальства этот фильм не видел, но все знали, что там рассказывается трогательная история о старом еврее, который в гражданскую войну спас от гибели беременную комиссаршу. В сознании склонной к мистике советской интеллигенции фильм Аскольдова превратился в миф, в котором чудесное его спасение после окончательного уничтожения было сродни воскрешению Христа после распятия.

Местные кинодеятели российского происхождения были очень взволнованы приездом Аскольдова, который кроме фильма

привез с собой замечательную актрису Нонну Мордюкову, сыгравшую у него роль Комиссарши. Всем хотелось прикоснуться к чудесному. И потому в пандан легенде было решено организовать скромный дружеский прием прямо у входа в Гефсиманский сад, на увитой виноградом террасе, с которой открывался живописный вид на Голгофу.

Легендарное это местечко было предоставлено нам поэтессой Юлией Винер, муж которой, голландский кинорежиссер Джон, ныне, к сожалению, покойный, снял когда-то заброшенный сарай во дворе греческой православной церкви и перевратил его в очаровательный коттедж. Греческая церковь расположена крайне киногенично над спуском в Кидронскую долину по правую сторону дороги на Иерихон. А по левую сторону этой дороги возносится к небу Гефсиманский сад с венчающей его русской православной церковью равноапостольной Марии Магдалины.

Туда-то в ясный иерусалимский вечер, когда прохладный ветерок сдувает с кожи воспоминание о недавней дневной жаре, начали стекаться режиссеры, сценаристы и операторы российского происхождения, кто с тортом, кто с бутылкой спиртного. Пока накрывали столы на террасе, приехали Аскольдов и Мордюкова.

Мы выпили за них, они за нас, стало весело и немного потусторонне, тем более ландшафт к этому располагал - неужто эти знаменитые москвичи и, впрямь нисколько не опасаясь, сидят с нами в увитой виноградными лозами беседке с видом на Голгофу?

После ужина Нонна Мордюкова вышла из беседки на террасу, устало опустилась на скамейку и окликнула меня – я стояла на ступеньках, любуясь неправдоподобной красоты видом на Кидронскую долину.

«Посиди со мной, - попросила актриса, - устала я сегодня, а они там мельтешат, так что в глазах рябит».

Я поспешно села рядом с ней и полюбопытствовала, от чего она так устала.

«Жарко тут у вас», - пожаловалась она. - А они меня целый день по горам таскали, в город Ерихон привезли и на скалу погнали – сперва триста ступенек вверх, потом триста ступенек вниз. А скала эта - сплошной камень, ни травинки, ни деревца. Какие-то сумасшедшие монахи живут там, им пищу снизу приносят. Да сколько по этим ступенькам можно затащить? Они узенько-узенько в скале вырублены, так что только одну ногу на каждую ступеньку поставить можно. А воду туда вообще не носят, они только ту пьют, что за зиму от дождей набирается. Нам ямы в камне показывали, где они воду хранят, и кельи

монашеские. А чтоб от келий до воды добраться, вдоль скалы тропки вырублены, прямо над пропастью, тоже узенькие- страх один! Наползалась я там, вот и устала».

Нонна откинулась на спинку скамейки и закрыла глаза.

«Да вы хоть вокруг поглядите, - посоветовала я. – Тут ведь вид уникальный, единственный в мире. Потом жалеть будете, что не посмотрели».

Она послушно открыла глаза и невидящим взглядом уставилась на один из самых фотогеничных в мире пейзажей.

«И что там особенного? Камни да деревья, как у нас на Кавказе».

«Да ведь это Голгофа – крестный путь, по которому Иисуса Христа вели на распятие», - пояснила я, ощущая неловкость за то общеизвестное, которое произношу.

«И ты туда же! – с досадой воскликнула Нонна. – Они мне тоже весь день про этого Христа долдонили, будто он на той скале в Ерихоне сорок дней просидел. И хоть сорок дней маковой росинки в рот не брал, все таки не помер. А кто он, этот Христ, они не объяснили, будто я сама знать должна. А я вот не знаю! Ну не знаю, и все! Может, ты мне про него расскажешь? Почему из-за него столько шума?».

Я уставилась на нее в полном обалдении – если это шутка или розыгрыш, то с какой целью? Вокруг нас не было ни одного зрителя, перед которым российская звезда могла бы себя показать, а моя скромная персона вряд ли представляла для нее хоть какой-нибудь интерес.

«Чего молчишь-то? Или тоже не знаешь?» - воскликнула Нонна нетерпеливо.

Выхода не было – не могла же я отказать самой Нонне Мордюковой? Я набрала в легкие порцию ветерка из Кидронской долины и приступила к изложениию самой популярной в европейском мире легенды. Мне было неловко рассказывать как нечто новое сюжет, который по моим представлениям должен был знать каждый, даже неграмотный. Но похоже, что моя знаменитая собеседница этого сюжета не знала. Она так бурно и искренне реагировала на все красочные детали биографии Сына Божьего Иисуса Христа и непорочной матери его Марии, что трудно было заподозрить ее в притворстве.

Я выдала на-гора очень сжатый синопсис истории рождения, гибели и воскрешения героя легенды, опасаясь, что веселые голоса скатятся из беседки на террасу и помешают мне завершить рассказ. Но даже и этот скомканный впопыхах сюжет потряс мою собеседницу. Она слушала, заворожено глядя мне в рот, и бурно реагируя на каждую новую подробность.

Непорочное зачатие она, правда, пропустила мимо ушей – ей ли, сыгравшей нашумевшую роль беременной Комиссарши, было не знать, что непорочных зачатий не бывает? Разные чудеса, вроде рождественской звезды, хождения по водам и воскрешения Лазаря, восхитили ее, но не задели сердца. Зато дальнейшее развитие событий все больше и больше увлекало ее подлинным драматизмом.

К моменту Тайной вечери она уже была настроена на слезы, а поцелуй Иуды всколыхнул в ее душе какие-то ей одной понятные воспоминания – похоже было, что о предательских поцелуях она знала не меньше, чем о непорочном зачатии.

Когда дело дошло до ареста Иисуса и суда над ним, Нонна уже трепетала и вздрагивала в предчувствии плохого конца. Усталость ее как рукой сняло – она, как маленькая девочка, то и дело теребила меня за руку, настойчиво повторяя: «Ну, а дальше что было?». Услышав про приговор суда, она совсем по-деревенски схватилась руками за щеки и запричитала:

«Как же так – распять человека на кресте? Ведь ни за что, ни про что!»

Ей явно не было известно, что в те времена римляне распинали целые коллективы, так что порой кресты с распятыми окаймляли километры хорошо ухоженных римских дорог. Под ее вздохи и причитания мы перешли к кульминационной сцене сюжета - к шествию Иисуа с крестом на спине по дороге, вьющейся меж холмов прямо у нас под ногами.

Нонна впилась глазами в расстилающийся перед нами мирный пейзаж, где ничего не напоминало о происшедшей здесь две тысячи лет назад драме - было тихо-тихо, в безветренном воздухе недвижно стояли деревья, над которыми в лучах заходящего солнца поблескивал крест церкви равноапостольной Марии Магдалины.

В историю Марии Магдалины я Нонну посвятить не успела, мне удалось только упомянуть, что Мария, мать Иисуса, в толпе любопытных следовала за ним по крестному пути. Вот по этому самому, что перед нами.

«Выходит, прямо тут все это и было? - усомнилась Нонна. – На этом самом месте? И что, так его и распяли?» – с надеждой на чудо спросила она.

Но мне нечем было ее утешить – где была бы сейчас наша цивилизация, если бы чудо произошло, и его не распяли? Какие фрески и скульптуры украшали бы церкви всех континентов? Впрочем, это неважно, - ведь без этого распятия и самих церквей бы не было. Я мимоходом подумала, что все проклинают Понтия Пилата и никому не приходит в голову поблагодарить его за

выдающиеся заслуги перед христианской цивилизацией.

Но я не стала делиться с Нонной своими соображениями о роли Понтия Пилата в истории человечества. С нее и простого сюжета христианской легенды было достаточно. Она обхватила голову руками и заплакала:

«Так и распяли его, болезного? И мать его там стояла, говоришь? И на весь этот ужас смотрела? Да как же сердце ее выдержать такое смогло?».

Я хотела было утишить ее боль рассказом о воскрешении, но тут наши мужчины, разгоряченные выпитым и высказанным, веселой гурьбой выкатились на террасу и окружили нас вопросами, почему мы тут уединяемся и о чем шепчемся. Нонна смахнула слезу и поднялась со скамейки.

«Пойду, выпью чего-нибудь. Или там ничего не осталось?».

Под громкие заверения, что не все еще выпито, она усталой, но величественной походкой направилась к ступенькам, ведущим в беседку. Я не пошла за ней, интуитивно ощутив, что момент интимности миновал, и не стоит навязываться.

Обдумывая потом этот случай, я задавала себе вопрос – знаменитая актриса Нонна Мордюкова и вправду ничего не знала об Иисусе Христе? Или она просто меня разыграла? В конце концов я пришла к выводу, что это неважно. Если не знала – я счастлива, что мне удалось ее хоть немного просветить. А если разыгрывала – что ж, мне повезло: одна из лучших актрис России лично для меня сыграла замечательный спектакль.

Подумать только - спектакль одного актера для одного зрителя, и этот зритель я!

# ВЕНЯ ЕРОФЕЕВ

Внешне – ничто не объединяет Веню Ерофеева Василием Розановым , но значит была какая-то внутренняя связь, раз Веня написал о Розанове растрепанное эссе с эксцентричной судьбой "Василий Розанов глазами эксцентрика".

Эссе это Ерофеев подарил нашему журналу "Евреи в СССР" 28 декабря 1973 года - сам его принес нам домой и положил на стол, где уже была приготовлена выпивка. А выпив соответствующее количество спиртного, стал нам это эссе читать вслух красивым бархатным голосом, который всегда появлялся у него после принятия соответствующего количества спиртного.

Мы с восторгом слушали и твердо решили в журнале напечатать, но вскоре во время обыска наши личные ангелы-хранители из КГБ, Володя и Вадя, конфисковали его вместе с другими материалами журнала. И оно кануло в небытие, так как Веня утверждал, что отдал нам единственный экземпляр. Туда же, в небытие, уплыл и роман Ерофеева "Дмитрий Шостакович", спьяну забытый автором на скамейке сквера в авоське с двумя бутылками водки по дороге на недосягаемый Курский вокзал.

Много лет спустя эссе о Розанове было опубликовано нью-йоркским издательством "Серебряный век" - как и где они его откопали, не знаю. Роман "Дмитрий Шостакович" пока из небытия не выплыл.

День 28 декабря 1973 года начинался темно-серым промозглым кошмаром, какой стоит в московском небе, когда оно набухает предчувствием близкого снега. Мое душевное состояние было под цвет небу. Накануне уехал в Израиль наш единственный сын, которому как раз исполнился 21 год. Нам с мужем было сказано, что нас не отпустят никогда, и я была уверена, что эта разлука - навеки.

Веня Ерофеев прочел: "Душа моя распухла от горечи, я весь от горечи распухал, щемило слева от сердца, справа от сердца тоже щемило". И я поняла, что это обо мне.

Веню привел к нам в дом поэт-авангардист Лен - это имя у меня ассоциативно рифмуется с именем Крученых, может, потому, что мне так и не удалось запомнить ни одной строчки, приходящейся на них двоих. Но Лен мне милей, потому что ему я обязана знакомством с Веней и с эссе о Розанове.

Пришли они к нам назавтра после проводов сына. По тогдашнему сионистскому обычаю проводы мы устроили

грандиозные, так как каждый участник борьбы за выезд хотел суеверно прикоснуться к уезжающему счастливчику. За вечер через нашу убогую кооперативную квартиру, построенную в расчете на "многодетного нищего", прошли десятки людей, среди них изрядное количество вовсе незнакомых. Выпивки было куплено гораздо больше, чем выпито, в салоне долго пел Александр Галич, а на кухне допоздна проторчала молодая пара, не слишком скрывавшая свою прямую причастность к КГБ.

Я проснулась поздно после мучительной ночи в Шереметьево с тяжелой головой и с глазами, опухшими от слез.

"Я бы мог утопить себя в собственных слезах... я бросался подо все поезда, но поезда останавливались, не задевая чресл... я шел в места больших маневров, становился у главной мишени, и в меня лупили все орудия всех стран Варшавского пакта..." - прочел Веня. Это тоже было обо мне.

Когда я открыла им дверь, они вошли не сразу, а замешкались на лестничной площадке, неловко уступая дорогу друг другу. Их было трое: в авангарде поэт-авангардист Лен, приятный лицом и надменный манерой, за ним невысокий сутулый молодой орел с пронзительно черным взглядом, а над ними, на голову их выше - Иван-царевич из сказок моего детства. Все было, как положено: молодецкая стать, ямочка на щеке, кудрявая русая прядь над мохнатыми синими глазами.

С ходу отметая подозрение, что бескрылый орел может оказаться Веней, я сказала Ивану-царевичу:

- Почему никто не предупредил меня, что вы - такой красивый?

Все засмеялись, перестали тесниться в дверном проеме и сразу оказались в нашей малометражной кухне, где стол был уставлен батареей спиртного из сертификатного магазина, и выпили по первой и тут же, не останавливаясь, по второй.

"Чередовались знаки Зодиака. – прочел Веня. - Созвездия круговращались и мерцали. И я спросил их: "Созвездия, ну теперь-то вы благосклонны ко мне?"

Созвездия всегда были благосклонны к Вене после второй рюмки. И после третьей. К третьей рюмке поэт-авангардист Лен незаметно слинял, огорченный явным недостатком внимания к его персоне. За столом осталась мы с Сашей и еще трое - умный и светский мыслитель Веня Ерофеев, черноглазый орел Боря Сорокин, который состоял при Вене нянькой, и писатель Василий Розанов, "мракобес от мозга до костей", вызванный к жизни Вениным чтением.

После очередной рюмки Веня заговорил о себе. Он рассказал, как их с Борей выгнали когда-то с первого курса филфака

Ярославского пединститута за неуспеваемость. Он быстро пропустил еще одну рюмку и уточнил:

"Все, влитое в меня с отроческих лет, плескалось во мне, как помои, переполнило чрево и душу и просилось вон - оставалось прибегнуть к самому проверенному из средств: изблевать это посредством двух пальцев. Одним из этих пальцев стал Новый Завет, другим - российская поэзия от Гаврилы Державина до Марины (пишущей "Беда" с большой буквы). Мне стало легче".

В зените запоя голос у Вени был бархатно-переливчатый баритон с ласкающими слух басовыми полутонами, и мысли его текли в сторону лучшего:

"Люди, почему вы не следуете нежным идеям? - спросил он и сам себе ответил. - Ведь нежная идея переживет железные идеи. Порвутся рельсы. Сломаются машины. А что человеку плачется при одной угрозе вечной разлуки, - это никогда не порвется и не истощится".

И заплакал при мысли, что его разлука с возлюбленной из Петушков обещает быть вечной, ибо становилось ясно, что он никогда не преодолеет бесконечной дороги на Курский вокзал. А поплакав, выпил еще и еще.

Все остальные, включая орла Борю и мракобеса Розанова, пили сдержанно, однако сертификатные бутылки быстро пустели - Вене эти спиртные реки были по колено. К закуске он при этом не прикоснулся. А закуска была неплохая - она тоже осталась от проводов, но не так обильно, как выпивка, потому что сионистские гости, джины-водки чуть пригубляя, в еде себе не отказывали. Выпив многократно и ни разу не закусив, Веня "много еще говорил, но уже не так хорошо и не так охотно. И зыбко, как утренний туман, приподнимался" из-за стола и все чаще и чаще ходил в туалет. И голос у него стал надтреснутый тенор с отдельными несинхронными баритональными вкраплениями, и темы пошли какие-то невеселые:

"Плевать на Миклухо-Маклая, который сказал, что если ты чего не сделаешь до тридцати, то после тридцати ты уже не сделаешь ничего. Ну что, допустим, сделал в мои годы император Нерон? Он не сделал еще ничего - не изнасиловал ни одной из своих племянниц, не поджигал Рима с четырех сторон и еще не задушил свою маму атласной подушкой. Вот и у меня - тоже все впереди".

Верил ли он, что все красочное у него еще впереди, или просто духарился, не знаю, хотя малопьющий Розанов веру эту в нем поощрял:

"Много ли ты прожил, приятель? Совсем ничтожный

срок, а ведь со времени Распятия прошло всего восемьдесят таких промежутков. Все было недавно. И оставь свои выспренности, все еще только начинается".

Так что временами - между второй рюмкой и, скажем, двадцатой - Веня надеялся, что и впрямь все только начинается. Но к полуночи, после двадцатой и далее, Веня усомнился, что ему удастся задушить свою маму атласной подушкой - ведь для этого надо было хоть раз при жизни мамы доехать до Петушков, а для этого надо было добраться до Курского вокзала, что давно уже было признано невыполнимой задачей.

Поближе к полночи сломленный сомнениями Веня рухнул на пол нашей малометражной кухни по дороге из туалета к столу, чудом не раскроив себе голову об угол дубового буфета. Черносотенец Розанов не выдержал вида золотых Вениных кудрей, разметавшихся по затоптанному множеством сионистских ботинок линолеуму - он вскрикнул по-петушиному и исчез бесследно. Даже стул его сам собой придвинулся к столу, будто там весь вечер никто не сидел.

Зато орел Боря не был ни потрясен, ни шокирован - как видно, он к подобным происшествиям привык. Он попросил разрешения оставить Веню на ночь у нас и деловито помог перенести с пола на диван длинное Венино тело, которое от этого перемещения слегка ожило и приобрело способность, нетвердо перебирая ногами, двигаться в сторону комнаты сына, где я постелила ему постель. Боря довел Веню до расстеленной кровати, помог ему стянуть ботинки и быстро ушел, опасаясь опоздать на метро.

Прошло минут двадцать, пока мы прощались с Борей и убирали посуду. По дороге в спальню я заглянула в комнату сына и обнаружила, что кровать пуста - Веня куда-то исчез. Слегка испуганная его исчезновением, я отправилась его искать. Ходить далеко не пришлось - он мирно спал в нашей супружеской постели.

Нам пришлось провести ночь на узкой кровати сына, так что мы проснулись довольно рано. Веня все еще спал. Потом пришел Боря и громко заспорил с Сашей о роли евреев в судьбе России, а я стала накрывать стол к завтраку. Далекие предки орла-Бори несомненно спустились в русские степи с каких-то снежных гор, то ли с Кавказа, то ли с Памира - только там носят такие огненные карие глаза под такими черными дугами бровей. Но Боря об этом не задумывался - он считал себя русским, и все пытался найти высший смысл в горькой доле своего народа.

"Евреи доказали свою избранность веками страданий, а мы за что страдаем? Может, и мы Ему небезразличны? Может, и

нас Он избрал для какой-то высшей цели?"

Разбуженный шумом, в дверях кухни появился нечесаный, но все равно красивый Веня, и все сели к столу. Веня глянул с отвращением на желтые глазки яичницы, и тускло поинтересовался, найдется ли чем опохмелиться. Саша торопливо поставил на стол жалкие остатки вчерашнего гулянья: только в двух-трех бутылках что-то плескалось на самом донышке.

«Это все?» - разочарованно спросил Веня, безжалостно сливая все остатки в один стакан, и самоотверженно предложил Саше половину полученной в результате серо-буро-малиновой смеси, от которой Саша самоотверженно отказался.

«Как же ты без опохмелки?» - пожалел его Веня и залпом опорожнил стакан до дна.

«А мне не надо», - прозаически объяснил Саша свою самоотверженность.

«Счастливый ты человек, если тебе с утра опохмелиться не обязательно», - позавидовал Веня лицемерно, потому что созвездия всегда были благосклонны к нему после первой опохмелки. В крови у него уже опять закружились молекулы алкоголя, придавая мыслям его блеск, а голосу - бархатную музыкальность. Он с нежностью расправил смятые с вечера странички своего эссе, и его "вырвало целым шквалом черных и дураковатых фраз":

«Мы живем скоротечно и глупо, они живут долго и умно. Не успев родиться, мы уже издыхаем. А они, мерзавцы, долголетни и пребудут вовеки. Жид почему-то вечен. Кащей почему-то бессмертен».

Я так и не поняла, кто это они, но не успела спросить, потому что вчерашний стул Розанова начал медленно отодвигаться от стола, словно давая место гостю, но никто пока не появился. А Веня продолжал, увлеченный собственным красноречием:

- «Всякая их идея - непреходяща, им должно расти, а нам - умаляться. Прометей не для нас, паразитов, украл огонь с Олимпа, он украл для них, мерзавцев... Они лишили меня вдоха и выдоха, я жду от них сказочных зверств и сказочного хамства. И когда начнется, я сразу без раздумий уйду... чтобы не видеть безумия сынов человеческих...»

Голос Розанова подхватил Венину речь на полуслове:

«Что же я скажу Богу о том, что он послал меня увидеть? Скажу ли, что мир, им сотворенный, прекрасен? Нет!»

Василий Розанов опять сидел с нами за столом. Только теперь я обратила внимание на его исключительное безобразие. Перехватив мой взгляд, он выкрикнул вызывающе:

«С выпученными глазами и облизывающийся - вот я! Некрасиво? Что делать».

Делать и впрямь было нечего - Вене общество Розанова было явно приятно, так что мне как хозяйке пришлось приветствовать его любезной улыбкой. Впрочем, он застольной беседы не нарушал - был дерзок и неглуп, хоть порой чрезмерно парадоксален. Но что ему, бедняге, при такой внешности еще оставалось? Пока Веня сосредоточился на вытряхивании последних капель из пустых бутылок, Розанов пустился в философию:

«Смысл не в Вечном, смысл - в Мгновениях. Мгновения-то и вечны, а Вечное - только "обстановка" для них».

Веня, не отвечая, тоскливо постукивал костяшками пальцев по дну опрокинутого пустого стакана. Было ясно, что созвездия опять лишили его своей благосклонности. Я воспользовалась перерывом в беседе и попыталась снова предложить Вене остывшую яичницу, но он снова оттолкнул тарелку, сказав, что на еду даже смотреть не может.

«Но вы же за сутки ни крошки не съели!» - в ужасе пробудилась дремлющая во мне еврейская мама.

«Я никогда не ем, если пью», - пояснил Веня, чем привел мою еврейскую маму в полное негодование.

«Вы же губите себя! - сорвавшись с цепи, завопила она. Я уже за нее не отвечала. - Такой красивый! Такой талантливый!»

«Вы поймите, - сказал Веня внятно, - я алкоголик. Мой дед был алкоголик, мой отец был алкоголик, и мой сын будет алкоголик. Это наш образ жизни».

Он сказал это без вызова, без гордости и без печали, а просто - констатируя факт. Почуяв инстинктивно, что еврейская мама во мне готова закудахтать как курица, нипочем несогласная с подобными фактами, Розанов решил внести ясность в понятие вины:

"Чтобы избавиться от упреков разных мозгоебателей, вроде принца Гамлета, королеве Гертруде, прежде чем идти под венец, надо было просто успеть доносить свои башмаки".

И все. Ходить надо было ей побольше по булыжникам датского королевства, - и все было бы в порядке. Сносила бы быстрей свои башмаки, и никакой трагедии бы не произошло. Принц женился бы на Офелии, со временем стал бы королем, они б народили новых принцев и принцесс, а бедняга Шекспир так и не стал бы великим драматургом. История искусства по Розанову - глазами эксцентрика.

Веню мы все же утешили: где-то за шкафом Саша обнаружил пластиковый мешок с большой бутылью неудобоваримого

алжирского вина "Солнцедар", по прозвищу "чернила", - вероятно, кто-то из гостей накануне принес, но постеснялся выставить на стол среди нарядных сертификатных напитков. Даже стакан этого пойла действовал как смесь касторки с крысиным ядом, но Веню это не смутило - он быстро и радостно выпил всю бутылку и снова "вышел в путь, пока еще ничем не озаренный, кроме тусклых созвездий. Чередовались знаки Зодиака" и было очень светло, потому что Солнце и Луна освещали нашу кухню одновременно со звездами. В тот короткий светлый промежуток, пока в печальной Вениной крови струились блестки "Солнцедара", он готов был согласиться даже с оптимистическим утверждением Розанова, что мир есть ворожба. Тем более что Розанов пришелся ему по душе:

«Человек этот ни разу за всю жизнь не прикинулся добродетельным, между тем, как прикидывались все. А если бабы скажут, что выглядел он скверно, что нос его был мясист и дурно пахло изо рта, - так ведь он сказал, что откусил бы голову Бонапарту, если бы встретил его. Ну как может пахнуть изо рта у человека, кто хоть мысленно откусил башку у Бонапарта?»

После этой речи Боря увел Ерофеева в очередной дом, где его ожидала очередная интеллектуальная выпивка. На прощание мы были приглашены на Рождественский вечер по старому стилю в подмосковную деревню, где Веня и Боря снимали по дешевке деревянную развалюху. Там я видела Веню в последний раз.

Из этой поездки запомнилась мне не мощенная деревенская улица, вся в колдобинах замерзшей грязи, по которой мы шли от станции электрички к Вениному дому. День был исключительно морозный, как и полагается на Рождество, и при этом совершенно бесснежный, отчего мороз казался еще круче. Воздух был налит пронзительной предсмертной печалью ранних зимних сумерек, физически ощутимо заполняющих пространство. Отдельные огоньки, вспыхивавшие то тут, то там в подслеповатых окошках, только подчеркивали непробиваемую мощь наступающей темноты.

Веня открыл нам дверь, и мы с порога увидели коленопреклоненного Борю - он раздувал огонь в слабо дымящейся печке. Они оба только что вернулись из Москвы, где пробыли несколько дней, и было очевидно, что слабосильная печь не в силах обогреть насквозь промерзший за эти дни дом. Стараясь поплотней закутаться в быстро холодеющие пальто, мы вчетвером сели к столу, где Боря поставил тарелку с крупно нарезанным черным хлебом и глиняную миску квашеной капусты. Веня сидел тусклый, поникший, нам даже на миг показалось, что

приезд наш ему ни к чему, просто - головная боль и ненужные разговоры.

Смущаясь почему-то, Саша вытащил из кармана поллитровку самого низшего сорта, - такую, какую удалось достать. Но Вене сорт водки был не важен, - при виде бутылки взгляд его вспыхнул знакомым мне звездным огнем:

«Почему же сразу не сказали, что есть водка?»

Он быстро пропустил первую, за ней, не останавливаясь, вторую и засверкал, засветился, заговорил красиво, бархатно, вдохновенно.

Любопытно, что я не могу вспомнить - о чем. То ли это дефект моей перегруженной памяти, то ли было это сплошное колыхание воздуха, очарование таланта и красоты.

Нечто похожее случилось со мной, когда спустя 15 лет я перечитала эссе о Василии Розанове. В том далеком семьдесят третьем все сказанное Венедиктом Ерофеевым о Василии Розанове казалось мне откровением. Как убивалась я тогда после обыска, думая, что эссе утеряно навеки!

Когда же я перечитала его по новой, я озадачилась - что в нем так поразило меня? Может, исключительный магнетизм личности Ерофеева, которая, как бриллиант, множеством граней отражая каждое мелкое движение его мысли, создавала иллюзию мощного светового пучка? Или необычная для меня тогда раскованность его стиля - ведь недаром он назвал себя эксцентриком? Теперь вся эта эксцентричная расхристанность стиля разобрана по кусочкам и усвоена многими. Она стала нормой и уже не поражает.

Крошечное Венино эссе гораздо больше рассказывает об его авторе, чем о Розанове, а ведь Розанов стоит рассказа, - он был человек, мягко говоря, неординарный. Кто его знает, может, это по его милости сотрудники КГБ конфисковали Венин опус, - он, небось, искренне огорчился, узнав, что журнал, в котором эссе будет опубликовано, называется "Евреи в СССР". Вы скажете, что к тому времени он уже полвека был обитателем загробного мира - ну и что? Сила духа у него была необычайная, а отношения с евреями - сродни его отношениям с женщинами: этакая взрывчатая смесь любви и ненависти.

«Действительно, есть какая-то ненависть между НИМ и еврейством. И когда думаешь об этом - становится страшно. И понимаешь ноуменальное, а не феноменальное "Распни его!"».

Вот она, избранность по Розанову, - глазами эксцентрика: оказывается между нами и ИМ не завет, а ненависть.

Но я не о евреях хотела, а о любви. Тоже - глазами эксцентрика. Эксцентрик-Розанов посвятил любви много строк и

сил: ведь он был не алкоголик, а сластолюбец. Наверно тем и восхитил он Веню - полной несхожестью, полярно противоположным зарядом.

"Ах, не холодеет, не холодеет еще Мир! Горячность - сущность его, любовь - сущность его… И перси... и тайны лона его. И маленький Розанов, где-то закутавшийся в его персях. И вечно сосущий из них молоко."

Ну как было не восхититься тут Вене, который с детских лет молока в рот не брал и всегда был готов пожертвовать любовью ради хорошей выпивки? Он и восхищался:

"Почему бы не позволить экскурсы в сексуальную патологию тому, в чьем сердце неизменной оставалась Пречистая Дева? Ни малейшего ущерба ни для Розанова, ни для Пречистой Девы", - писал Веня, обнаруживая при этом глубокую невинность алкоголика в вопросах сластолюбия.

Что он знал о розановских экскурсах в сексуальную патологию? И об ущербе для Пречистой Девы? Пречистую Деву Розанова звали Полина -Апполинария Суслова. Когда они познакомились, ей было 40 лет, а ему 24. Он полюбил ее безумной любовью сластолюбца за то, что за 17 лет до него ее безумно любил другой, воистину великий, сластолюбец - Федор Достоевский. Достоевского она терзала с каким-то исступленным сладострастием, испытывая свою власть над ним, Сбросив с себя одежду, она у него на глазах ложилась в постель, и, обнаженная, посвящала его в подробности своей любви к другому, а затем протягивала ему ногу для поцелуя и тут же выгоняла из комнаты. Это было тем более жестоко, что женская нога всегда составляла для Достоевского предмет жгучего эротического возбуждения.

Любовь Достоевского к Полине так прочно сплеталась с ненавистью, что могла бы служить классическим образцом садо-мазохистской привязанности. Как было Розанову, сластолюбцу и мазохисту, не броситься, очертя голову, в водоворот любви к такой женщине? Он любил в ней возлюбленную Достоевского, он хотел через нее дотянуться до интимных тайн своего кумира. И она была готова подарить ему страдание, которого он так жаждал. Она терзала его без всякой пользы, медленно, систематически, продуманно, - просто для удовольствия. И Розанов наслаждался своим страданием.

"И далеким знанием знает Глазница мира обо мне и бережет меня. И дает мне молоко и в нем мудрости огонь".

Вот этой-то мудростью, почерпнутой из молока, прельстил Розанов Веню. Тот почуял за неровными, несобранными строками розановских сочинений другую, ничем не похожую на свою, жизненную стихию. Венина тусклая в

трезвости душа, все чаще страдающая от краткости алкогольных просветлений, потянулась к полной жизненных сил эротической ауре сластолюбца:

"Этот гнусный ядовитый фанатик, этот токсичный старикашка ...баламут с тончайшим сердцем, ипохондрик, мизантроп, грубиян, весь сотворенный из нервов, - нет, он не дал мне полного снадобья от нравственных немощей, но спас мне честь и дыхание... Все тридцать шесть его сочинений вонзились мне в душу, и теперь торчали в ней, как торчат три дюжины стрел в пузе святого Себастьяна".

# АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН И БЕНЕДИКТ САРНОВ

Моя любимая подруга Слава, необузданная жена известного литературовода Бена Сарнова, дважды побила моего сына Володю, когда он был ребенком. Первый раз это случилось по дороге из дачного кинотеатра при обсуждении сюжета польского детектива «Девушка из банка», который девятилетний Володя проанализировал лучше, чем она. Импульсивная Слава, возмущенная до глубины души этой неоправданной детской дерзостью, больно огрела его по спине и столкнула в придорожную канаву.

Пару лет спустя Володя, уже перешедший в ранний разряд тинэйджеров, вмешался в наш безысходный спор об искусстве и объявил, что очень скоро электронные машины станут писать и рисовать лучше, чем люди, а люди будут принимать их творения за произведения искусства и восхищаться. Ошеломленная таким чудовищным богохульством Слава начала колотить Володю кулаками и орать: «За такие слова ты в аду сковородки лизать будешь!»

Как ни странно, я все эти выходки ей простила – то ли за непосредственность, то ли за самобытность, то ли просто из любви – к ней и к Бену. Но эта любовь не помогла мне сохранить их дружбу – когда мы встретились после тридцати лет разлуки, оказалось, что за эти годы наши представления о мире разошлись необратимо. Это не могло обойтись безнаказно.

Дружба наша возникла много лет назад, внезапно и мгновенно. Все началось с того, что мы с Воронелем поджидали своей очереди к такси после какой-то людной тусовки в Доме Литераторов. Прямо за нами стояла нарядная пара чуть постарше нас, и вдруг я услышала, как женщина назвала своего спутника Беном. И тут у меня случилось озарение – я поняла, что это Бен Сарнов, автор восхитившей меня недавно статьи о «Святом колодце» Катаева.

Не останавливаясь на раздумья, я тут же сходу спросила: «Вы – Бен Сарнов?» В голосе у меня прозвенел такой восторг, что любой из нашей литературной братии откликнулся бы обязательно. И Сарнов откликнулся тоже, тем более, что я, не переводя дыхания, стала цитировать выдержки из его статьи. Оказалось, что нам по дороге, и мы втиснулись вчетвером в одно такси. Расстались мы, уже держа в зубах приглашение прийти в

гости как можно скорее. Мы и пришли как можно скорее. Воронель и Бен тут же сцепились, как две хорошо подогнанные шестеренки, в одном длинном бесконечном споре, который продолжался долгие годы всюду, где они оказывались рядом.

Как бы ни хорош был Воронель в этом споре, у Бена всегда было утешение, что он еще лучше. Он даже придумал формулировку для своего превосходства – мы были для него «десантники с харьковским (т.е.провинциальным) образом мысли», тогда как себя он зачислял в традиционалисты с московским (т.е. столичным) мышлением. Но, когда мы вернулись в Москву гостями из большого мира, формулировка эта уже не соответствовала ни нам, ни ему.

Мы столкнулись лбами в одной из самых болевых точек современной российской культурологии – в оценке исторической роли вчерашнего кумира, Александра Исаевича Солженицына. Много лет он был кумиром для Сарнова и его круга, а сегодня они повергли его в пыль и топчут ногами. Вот я и вступилась - что может быть печальней зрелища поверженного кумира? А ведь знала, что в чужую драку вмешиваться нельзя – вот и получила по заслугам. Но не вмшаться не могла, - все-таки Солженицын не Сталин и не Дзержинский, чтобы втаптывать его в пыль интеллигентскими импортными башмаками.

Расхождения наши с Беном по поводу взглядов Солженицына на русскую историю по сути отразили глубину той культурной пропасти, которая разверзлась между нами за тридцать лет разлуки. За эти годы я много поездила, во многих странах пожила, много недоступных русскому читателю книг прочла, и увидела свою историческую родину со стороны. Во избежание недоразумений уточняю - исторической родиной я называю Россию, ибо невозможно отменить исторический факт моего там рождения.

Именно Россию я увидела, как один из многих хрусталиков вселенского калейдоскопа, а не как единственное, неотделимое от меня земное пристанище. Я уже вчуже оценила иными мерками эту страну, ее народ и ее интеллигенцию. А Бен как сидел тридцать лет назад за фигурным столом «с плеча» Ильи Эренбурга, так и по сей день видит российский горизонт в масштабе этого стола.

Но дело не только в Сарнове, который как раз и познакомил нас когда-то с Солженицыным, в то время еще молодым и только восходящим к мировой славе. Однако Бен уже тогда, на ранней стадии, эту славу провидел, и страшно перед нами гордился, какие у него блестящие знакомства. Каково же ему было через сорок лет услышать от нас, ездивших в гости к Солженицыну, что

тот спросил: «Ну что этот Сарнов от меня хочет? Я его и не видел никогда». Обида началась уже с того, что мы, вопреки настояниям Бена, поехали к Солженицыну в его подмосковный дом, куда привезла нас на машине жена писателя, Наталья Дмитриевна, специально для этого приехавшая за нами в Москву. Да потом еще хвастались вкуснейшими пирожками с яблоками и творогом, которые по словам Натальи Дмитриевны, она собственноручно испекла тоже специально для нас.

И все же не в этой мелкой обиде, конечно, таилась суть моего расхождения не только с Беном, но и со всей прогрессивной московской тусовкой. Мой спор с замшелым либеральным взглядом на судьбы России начался еще в 90-х годах прошлого века, когда я вступила в полемику с Майей Каганской, разоблачавшей российских ретроградов Достоевского и Солженицына в эссе "Осень патриарха".

Помнится, что на полемический ответ Каганской меня побудила пропетая ею в этом эссе вдохновенная ода бороде. "Борода, – вещала она, - это воспоминание о древних культах Земли... это знак, вызов, исповедь и проповедь". Возможно, не выскажись она так высокопарно, не подняла бы я на нее пера. Что мне, в конце концов, до репутации Достоевского и Солженицына в либеральной среде, тем более что их славы не убудет, даже если еще дюжина прогрессивных эссеистов наших дней обзовет их ретроградами.

Но провалы логики во вдохновенном разоблачении Каганской переполнили чашу моего терпения. Не удовлетворясь словарным обозначением бороды как «лицевого волосяного покрова, характерного для приматов мужского пола, достигших половой зрелости», она объявила, что форма бороды определяет не столько лицо как зеркало души, сколько лицо как зеркало русской революции.

Как видно, Каганской все же было трудно вознести бороду на уровень культового знака без ссылки на какой-нибудь высший авторитет. На роль этого авторитета она выбрала Фрезера,этого стихийного дарвиниста в области религиозной мысли, написавшего основные свои труды в конце девятнадцатого века. На русский язык его перевели только в 1980 году, когда созвучность его идей идеям российской философской мысли, отставшей от европейской на целое столетие, сделала его необходимой составляющей "малого джентльменского набора" русскоязычного (т.е. не читающего на других языках) интеллигента. А Фрезер как раз был неравнодушен к бороде, - он объявил ее символом плодородия. Неясно, как с этой точки зрения трактовать бороды, обильно растущие после смерти?

Неужто гоголевские мертвецы, до пустых глазниц заросшие бородами, встают из могил, чтобы воплотить идею плодородия?

С помощью Фрезера облюбовав для осуждения бородатую пару Достоевский–Солженицын, Каганская объединила своих героев и по другим статьям, в частности, по особенностям биографии:

"Главное в Солженицыне – от Достоевского: смертная казнь – царская каторга – десять лет сталинских лагерей, оба побывали в аду, у обоих – мировая слава. И никогда еще... ожидания прогрессивного человечества не были так... безжалостно обмануты: вместо призыва к борьбе за свободу и равенство, оба призвали вернуться к... ценностям мистического коллективизма".

С тем, что главное в Солженицыне – от Достоевского, можно согласиться, можно возразить - ведь каждый главным в писателе видит что-то свое. Я, например, главным в Достоевском считаю его способность, расшелушив человеческую душу, как луковицу, дойти до самого сокровенного истока ее низости, а Солженицын в этом деле куда как не силен.

Зато если вернуться к "ценностям мистического коллективизма", открываются интереснейшие аспекты. Что правда, то правда: оба "великих мученика тирании" по возвращении из тюремного ада странным образом отказались от либеральных идей своей юности и, развернувшись на 180 градусов, стали с поразительным единодушием призывать свой народ "вернуться к вере, церкви, нации, государству".

Конечно, сердцу, преданному идеалам свободы и равенства, трудно не осудить столь предательское отступничество двух величайших писателей земли русской. А что, если, прежде чем осуждать, попытаться проанализировать и понять?

Ведь даже самый самонадеянный эссеист времен перестройки может предположить, что и Достоевский, и Солженицын, как бы ни были они сбиты с толку своими скитаниями по кругам ада, не могли забыть общеизвестные азбучные истины. Что же заставило их обоих, пусть по Сарнову не вполне заслуженно, но все же заслуживших мировую славу, дружно отречься от этих истин?

Почему оба они начали проповедовать идеи, заведомо обрекающие их на непопулярную репутацию ретроградов? Ведь следует отметить, что свои предосудительные опасения насчет демократии они адресуют собственному народу, который хорошо успели изучить за время, проведенное в аду. Может, есть у них какие-то соображения, нам не столько неведомые, сколь несимпатичные? Может, они знают о своем народе нечто, чего мы не то, чтобы не знаем, но знать не хотим?

Я понимаю, что предлагаю сейчас альтернативу почти

неприемлемую для либерального сознания, – я предлагаю предположить,что истина неоднозначна. Ничто так не роднит либералов с ретроградами, как их дружное нежелание признать правомочность, пускай хоть для дискуссии, другой точки зрения, другой системы аксиом, положенных в основу идеологии!

Боюсь, что верность некой общепринятой системе единомыслия тоже входит сегодня в "малый джентльменский набор": расизм – плохо, гуманизм – хорошо, угнетенные народы - борцы за свободу, угнетатели-министры – душители свободы. И вовсе ни к чему вдумываться, что такое расизм, гуманизм и свобода, ибо все они вместе взятые – это «заповедь, исповедь и проповедь». К черту подробности – главное, чтобы в рифму.

Зато если признать, что истина относительна и зависит от места, времени и точки отсчета, то возникают проблемы почти неразрешимые, и приходится брать на себя ответственность за собственные мысли и поступки. Многим ли это может прийтись по вкусу?

И все же, трезво оценивая всю непривлекательность своей идеи, я настойчиво предлагаю еще раз вчитаться в длинный список цитат из Достоевского и Солженицына, но не с целью их разоблачить, а в надежде понять. Здесь оба они перед нами, как на ладони, и оба совершенно беззастенчиво самоутверждаются в собственном ретроградстве:

Достоевский: "Всеобщее избирательное право – самое нелепое изобретение XIX века".

Солженицын: "Избирательное право – не закон Ньютона, в свойствах его разрешительно и усумниться".

Далось им это избирательное право! Чем оно им так досадило? Жалко им, что ли, чтобы каждый мог свое мнение выразить?

Да что там избирательное право! Зарвавшийся Солженицын идет дальше: чтобы оправдать свой непростительный отход от прогрессивного либерализма, он заносит руку на святая святых гуманизма – на самую идею равенства, называя его "энтропией, ведущей к смерти".

А ведь если дать себе волю подумать, и впрямь – так ли абсолютно непререкаема идея всеобщего равенства? Или "разрешительно в ней усумниться"? Как ни стремлюсь я соответствовать "джентльменскому набору", не могу я заставить себя поверить в свое равенство с Саддамом Хусейном, с членами "Черного сентября" или с отчаянной компанией, спикировавшей 11 сентября на Башни-близнецы. Нет между нами ничего общего, кроме физиологических отправлений, и я бы ни за что не согласилась дать им право голоса при решении вопроса о

будущем человечества.

Да и вообще, кто кому равен? И в чем? Старики не равны молодым, женщины не равны мужчинам. Я не ввожу оценочных критериев "лучше" или "хуже", я говорю о различии во всем – в направленности интересов, в эмоциональном складе, в шкале приоритетов. Природа создала нас такими разными не для того, чтобы мы наперекор ей доказывали, что мы друг другу равны.

Мне могут возразить, что речь идет о равенстве прав, а не о равенстве вообще. Что ж, давайте на миг предположим, что возможно равенство прав для неравных – иными словами, равенство прав при неравенстве обязательств, – и в свете этого предположения рассмотрим сегодняшнюю ожесточенную борьбу за запрещение абортов. Чьи права более равны, права нерожденных младенцев "быть или не быть" или права женщин "рожать или не рожать"?

Этот пример сразу помогает найти формулировку: равенство невозможно в случае конфликта интересов. Но жизнь, в отличие от смерти, и есть постоянный конфликт интересов. Значит, равенство возможно только в смерти, что, собственно, и составляет смысл солженицынского утверждения.

Беда в том, что, раз усомнившись, трудно остановиться. Если всеобщее равенство сомнительно, то, может, и всеобщее избирательное право не так уж несомненно? Ведь никто не оспаривает справедливости возрастного ценза, например.

Представим себе, что возрастной ценз применим не только к отдельным личностям, но и к целым народам. Ведь предположение, что разные группы людей, сосуществующие в одном астрономическом времени, существуют при этом так же и в одном времени историческом, логически абсолютно несостоятельно. Из возможности этих групп встретиться в пространстве вовсе не следует, что им суждено встретиться во времени – между ними может пролегать пропасть в несколько веков. Но стоит предположить, что каждый народ живет в собственном историческом времени, как сразу приобретает смысл понятие "возраст народа". Остается только выяснить, что это такое.

Пытаясь ответить на этот каверзный вопрос, я вступаю на зыбкую почву, и потому хочу опереться на общепризнанный авторитет, на этот раз из "большого джентльменского набора". Карл Юнг, знаменитый последователь и ниспровергатель З.Фрейда, утверждал, что существует некое "коллективное подсознательное", характерное для каждого народа. Пока еще неясно, чем именно оно определяется – языком ли, мелодикой ли колыбельных песен или образным строем детских сказок, но ясно,

что каждый народ из поколения в поколение воспроизводит свой стереотип, передавая как эстафету некий таинственный код.

Код этот не зависит ни от политических режимов, ни от религиозного уклада, он спрятан глубоко в коллективной народной подкорке и надежно защищен от внешних влияний. Это как бы прочно зашифрованный свод законов, которыми народ руководствуется в самых сокровенных делах, касающихся рождения, смерти, отношений между мужчиной и женщиной, отношений между родителями и детьми. Он, конечно, изменяется во времени, но изменяется медленно, на протяжении многих поколений, и потому кажется незыблемым и неизменным.

Этот код, по-видимому, и определяет возраст народа. Понятие "возраст народа" давно существует как незаконное дитя науки: в социологической литературе нередко можно встретить определения "старый народ" и "молодой народ", хоть никто не указал на их характерные отличия. Однако мне кажется, что именно эти отличия, хоть непоименованные, но реально существующие, и определяют склонность одних народов к демократии, а других – к тоталитаризму.

Для лучшего понимания связи между возрастом народа и его способностью к демократическому укладу, мне кажется, вернее будет определить народы как взрослые и невзрослые.

Что такое "народ" и какой народ можно назвать взрослым?

Определим "народ" как группу людей, объединенных общим коллективным подсознанием, что облегчает взаимопонимание внутри этой группы. Взрослым назовем народ, представители которого готовы взять на себя ответственность за свою жизнь, в то время как представители невзрослого народа нуждаются в авторитарной фигуре "отца", принимающего на себя эту ответственность. "Отец" является подателем и распределителем благ, он может миловать и казнить по произволу, но при этом на него можно положиться, как на каменную стену.

Суть отношений между народом-ребенком и отцом на редкость художественно наглядно выражена при ежедневном исполнении государственного гимна, заключающего программу иорданского телевидения: огромное, во всю стену, изображение нежно-сурового красавца-короля в розовой куфие парит над трепетным хором низкорослых, по-собачьи преданных подданных. "Отец родной! – поют они ангельскими голосами. – Ты наша сила, наша радость, наша надежда!" Совершенно немыслимо представить себе нечто подобное в исполнении американского, английского или израильского телевидения.

Зато в России так было всегда. Гигантские лица вождей осеняли собрания и съезды, их многократно увеличенные

указующие персты простирались над головами крошечных прохожих, мельтешащих на уровне громадных бронзовых или мраморных колен этих царственных чудищ. И даже сегодня, когда вчерашние идолы, развенчанные и раскуроченные, поплыли на свалку на крюках подъемных кранов, их изгнание выглядит не более чем негативным вариантом ритуала того же культа отца. Народный гнев, направленный на культовые изображения, на мраморные уши и гипсовые носы, разоблачает незрелые чувства рассерженных детей.

Интересно проследить, как проявилась эта невзрослость в фигурах речи. Русский язык на удивление богат ссылками на постоянную игру в "дочки-матери": тут тебе и "матушка Волга", и "родина-мать", и "Кузькина мать" и "еб твою мать", и "мать зеленая дубравушка" – на любой вкус.

Недаром русская брань называется матом – вся она построена на изощренном хитросплетении разнообразных бранных слов вокруг имени матери. И как они хитро сплетены порой! А порой ничего и не надо – достаточно просто воскликнуть: "У, мать твою!" – и всем все ясно. Заговор детей, так сказать, потому что весь народ выступает здесь как коллектив недорослей, связанных с матерью пуповиной садо-мазохистской любви-ненависти. Зато никто ни за что не ответствен и неподсуден по причине несовершеннолетия.

Мне думается, что неизбежность падения России в пропасть тоталитаризма в результате любого революционного взрыва определяется этой невзрослостью русского народа.

Собственно, ни на какое открытие я здесь не претендую, об этом много раз было говорено и до меня: как радетели, так и хулители русского народа высказывались по этому поводу с трогательным единодушием.

Вот, к примеру, несколько цитат из книги образцово-показательного российского патриота-антисемита В.Шульгина "Что нам в них (в евреях) не нравится", выбранных на лету из восхитительного их изобилия:

"...русский народ во всей его совокупности женственно несовершеннолетен... для него наивыгоднейшая форма общежития есть Вожачество. К такому вожачеству (в форме ли монархии, диктатуры или иной) русские, понявшие свою природу, будут стремиться. "

"Мы из тех пород, которым нужен видимый и осязаемый вожак. При соответствующем вожаке русские могут быть очень сильны. Разительный пример этому – царствование сурового вожака Николая I. Царствование это было вместе с тем золотым веком русской литературы... В катавасии, которую декабристы

готовили России, конечно, погиб бы цвет нации: Жуковский, Пушкин, Грибоедов и Гоголь окончили бы свою жизнь на эшафоте, ничего не написав. Ведь на наших глазах в революции погибли все те, кто не успел во время унести ноги".

Шульгин писал это в 1930 году в эмиграции – имея за плечами скорбный опыт тринадцати лет торжества народной власти в России. А за двадцать лет до этого, в канун исторического катаклизма 1917 года, знаменитый немецкий социолог, специалист по русскому вопросу Макс Вебер, анализируя причины поражения русской революции 1905 г., видел их, подобно Шульгину, в незрелости народа, которому ни к чему была свобода, навязываемая ему либеральной интеллигенцией. Так же, как и Шульгин, он утверждал, что Россия не дозрела до всеобщего избирательного права, и предсказывал ей неизбежный приход к авторитарному режиму в результате любого, сколь угодно демократического поначалу, грядущего переворота.

Если уж объективно-доброжелательный диагноз Вебера звучит столь согласно с заклинаниями Достоевского образца 1880 года и с поучениями Солженицына образца 1980-го, то чего остается ждать от заведомых хулителей-жидов, вроде Ричарда Пайпса и Александра Янова? Они-то, проклятые, изначально строили свои злокозненные диагнозы и прогнозы на обидной презумпции, что пресловутая российская соборность вкупе с пресловутой общинной собственностью на землю автоматически исключает какую бы то ни было самостоятель-ность русского народа? И потому они, губительно предопределяя его духовную и экономическую судьбу, приходят к тому же выводу уже с совсем других, либерально-демократических, позиций: нельзя доверить индивидуальную ответственность избирательного права народу, который, если и знает какую-то ответственность, то только коллективную.

Интересно, что во всех упомянутых оценках расхождений никаких нет: и радетели, и хулители судят хоть и несогласованно, но согласно. Согласны они по существу, а несогласованы по недоразумению, так как не сговорились об определениях. И потому предлагают разные способы лечения болезни, природа которой однозначно очевидна и либералам, и ретроградам.

Выходит, мне только и остается, что поставить точки над "i", называя вещи своими именами. Я не хочу умалять важность такой постановки вопроса: еще в молодости, когда я занималась физикой, – был такой грех, – я поняла, что, правильно сформулировав условие задачи, мы практически обеспечиваем ее

решение. Мне кажется, что, вводя определение народа "взрослого" и "невзрослого" для характеристики его склонности соответственно к демократии или тоталитаризму, мы можем с неожиданной легкостью прояснить картину многих исторических процессов, до сих пор затуманенную ненаучными, сбивающими с толку эмоциями участников дискуссии.

В свете всего вышесказанного нелепо обвинять Достоевского и Солженицына в ретроградстве: ведь не такой это смертный грех – знать и понимать детскую душу своего народа! И даже их претензии к скучным колбасникам-швейцарцам меняют свою первоначальную окраску – непристойно злобные в устах взрослого, они звучат почти мило в устах ребенка, которому жизнь взрослых кажется скучной. Ему отвратительны взрослые дяденьки и тетеньки, ведущие бесконечно занудные разговоры о политике, ценах и налогах. Народ-ребенок хочет играть в "сыщики-разбойники" или в "дочки-матери" – как же не опасаться той детской бесшабашности, с которой этот народ может злоупотребить равноправием, полученным не по чину, вернее – не по возрасту?!

Ведь справедливости возрастного ценза никто пока не оспаривал. И никто никогда не настаивал на равенстве взрослых и детей при решении судьбоносных вопросов. История не раз показала, к чему приводит неправильно примененная идея равенства: страшная сегодняшняя судьба многомиллионно вымирающих народов Черной Африки – наглядный тому пример. Пока они существовали как неравноправные подданные своих вождей, – хоть черных, хоть белых, – они страдали, но жили, а теперь, утвердив свои карикатурные демократии "a la Afrique", они принялись уничтожать друг друга и враг врага столь ретиво, что скоро уже некого будет спасать от голода, воцарившегося в их демократическом хаосе. Можно подумать, что они ценой жизни целого континента взялись доказать правоту Солженицына, объявившего равенство "энтропией, ведущей к смерти".

Обсуждая идею равенства, В.Шульгин близок к Солженицыну, как и положено ретрограду. Вопрос этот так его волнует, что он даже изменяет своему обычному суховато-деловому стилю и ударяется в поэзию: "Есть ли Равенство – закон Природы или, наоборот, Природа есть роскошная хартия неравенства, выписанная бесконечно-неравными литерами на картах звездного неба? Уравнение в правах людей, совершенно неравных по своим духовным качествам, есть восстание против Природы, каковое восстание не может не караться время от времени..."

Стыдно признаться, но я с ним согласна – может, я тоже из разряда ретроградов? Что ж, раз так, я перейду к анализу еще

одного собрата по ретроградству – ибо многое из того, чем он вызвал раздражение русскоязычной части "прогрессивного человечества", может быть, если не вполне оправдано, то в значительной степени смягчено переопределением русского народа как невзрослого, рассмотренного в противостоянии с еврейским народом как взрослым.

Ретроград этот почти во всем соответствует тому описанию, которым Каганская объединила Достоевского и Солженицына: у него – мировая слава (в области математики), он предъявил деспотизму обвинения дантовской мощи (вместе с А.Сахаровым). В тюрьме он, правда, не сидел, но мог бы сесть, будучи верным соратником Сахарова в самые тяжкие времена. И, несмотря на все это, взял и грубо обманул наши ожидания: вместо приличествующего его статусу призыва к равенству и братству написал гнусный антисемитский опус "Русофобия". Вы уже поняли, о ком речь? Вы правы: именно о нем, об академике Игоре Шафаревиче. Именно его печально и позорно знаменитое творение я хочу опять подвергнуть анализу – не с целью осудить, а в надежде понять.

Надеюсь, никто не заподозрит меня в пристрастии к антисемитам, хоть, должна признаться, особой неприязни я к ним тоже не питаю – ведь я позволяю себе судить и оценивать другие народы, почему бы не позволить и им судить и оценивать мой? Тяжко это только в условиях политического неравенства, а если за моей спиной есть моя армия и флот, то пусть думают, что хотят.

В личном пристрастии к Шафаревичу меня тоже трудно заподозрить – суть не в том, что он обложил лично меня в "Русофобии", а в том, что он обложил меня неинтеллигентно. Привожу его слова:

"Пьеса "Утомленное солнце" (вообще замечательная клокочущей ненавистью к русским). Автор – Нина Воронель, недавний эмигрант из СССР (может быть, пьеса здесь и писалась?). В пьесе трус и негодяй Астров спорит с чистым, принципиальным Веней. Астров кричит:

– Ответственности вы не несете, но устраиваете нам революции, отменяете нашего Бога, разрушаете церкви!

– Да чего вы стоите, если вам можно революции устраивать! – парирует Веня".

На этой фразе Шафаревич основывает свое заключение о моей "клокочущей ненависти к русским". Не собираясь доказывать, что я не верблюд, я хочу обратить внимание читателей на его исключительно неинтеллигентную презумпцию, будто герои пьесы всегда выражают мнение автора. Какое счастье,

что Шафаревич не татарский националист! Не то он, процитировав пьяного шкипера из другой моей пьесы "Воскрешенный": "у татарок все поперек, – что у других баб вдоль, то у них поперек", – мог бы объявить, что я, томимая подсознательной завистью к Белле Ахмадуллиной, облыжно охаиваю татарских женщин.

И все же я хочу сопоставить тезисы "Русофобии" с тезисами книги Шульгина не с целью осудить, а все в той же надежде понять. Многое объединяет ретрограда-Шафаревича с ретроградом-Шульгиным – уж Каганская на моем месте обязательно нашла бы какое-то сложно-семантическое объяснение тому факту, что их фамилии начинаются на одну и ту же букву, родственную ивритскому "шин", с которой начинается ивритский "ШЕД", по-русски означающий – "бес, черт". Так мы и будем этих чертей величать – "2Ш". Оба черта во многом совпадающе-логичны и даже порой справедливы в оценке отдельных характерных черт как русских, так и евреев. И так же внезапно совпадающе-истеричны, когда вдруг теряют контроль над своими, до того вполне разумными, мыслями и дружно в унисон заходятся в кликушеском припадке антисемитского безумия.

Однако при ближайшем рассмотрении внезапность этих припадков оказывается иллюзорной, их можно заранее предсказать: они случаются, когда ущемляется общая душевная грыжа наших "2Ш" – их мучительный комплекс неполноценности. Можете судить сами:

"Г.Померанц открывает универсальную закономерность русской жизни – что в ней всегда ведущую роль играли нерусские: "Даже в романах русских писателей какие фамилии носят деловые, энергичные люди? Костанжогло, Инсаров, Штольц. Тут уж заранее приготовлено было место для Левинсона". Ставится даже такой мысленный эксперимент: если бы опричника Федьку Басманова перенести в наш век и сделать наркомом железнодорожного транспорта, то у него, утверждает автор, поезда непременно сходили бы с рельс, а вот "у мерзавца Кагановича поезда ходили по расписанию, как раньше у Клейнмихеля" (И.Ш.).

Ничего не скажешь, мерзавец Г.Померанц написал обидно, особенно для того, кто сам так думает – страдает, локти себе кусает, но в глубине души согласен, что мерзавец подметил правильно. А ведь какое было бы им облегчение, если бы объяснить непрактичность и неумелость русских просто их невзрослостью, детством – тогда и упреки в варварстве и жестокости звучали бы не так непереносимо: ну что взять с

дитяти?

А если считать, что все народы одинаково взрослые, беднягам "2Ш", по милости таких Померанцев, становится до боли стыдно за свой народ, вот они и кликушествуют. И при этом в своих собственных, полных детских обид писаниях приводят примеры, которые при желании могли бы объяснить и оправдать их подопечных.

"...проверим наши сомнения на утверждении о жестокости, варварстве, специфическом якобы для всей русской истории. Как будто существовал народ, который в этом нельзя упрекнуть! В Библии читаем о царе Давиде. "А народ, бывший в нем, он вывел и положил их под пилы, под железные молотилки..." А эллины? ... А Варфоломеевская ночь? ... И так было через всю историю" (И.Ш.).

Обидно Шафаревичу: евреям безобразия царя Давида прощают, французам Варфоломеевскую ночь не засчитывают, а на русских катят бочку и за царя Ивана, и за царя Петра, и за императора Иосифа Сталина. А ведь он, математик, мог бы заметить сходство между евреями эпохи царя Давида и французами эпохи Варфоломеевской ночи: они проходили тогда свой период детского садизма, период вождизма, период стремления втиснуть потную народную ладошку в сильную руку Отца. Тут Шафаревич прав: все народы через это проходили. Суть в том, что некоторые уже прошли. Ни к чему страдать и стыдиться за свой народ, даже если он еще в пеленках. Все там были.

Вот вырастет, поумнеет и себя покажет. Как это у Киплинга, когда он утешает семнадцатилетнюю девушку, тушующуюся в сравнении с опытной красоткой "под пятьдесят": потерпи, через тридцать лет "ей будет восемьдесят пять, тебе – под пятьдесят". Беда (а может, счастье?) в том, что исторические процессы текут слишком медленно, там часы другие, исторические: "тридцать лет" Киплинга - это тридцать людских поколений, так что за одну жизнь не дождешься утешительных перемен.

Вот и воюют между собой радетели и хулители, согласные по сути и несогласные по недоразумению, но те и другие равно близорукие. Главное поле их битвы – вопрос о демократии. Все они сходятся на диагнозе: с демократическим устройством в России есть - и всегда был – непорядок.

Несогласие начинается при обсуждении причин болезни и методов ее лечения:

"...основной вопрос, который сейчас, как и много поколений назад, разделяет русское диссидентское движение, – является ли Россия европейской страной или для нее существует особый,

собственный путь развития". А.Янов (хулитель).

"По мнению авторов (хулителей) вообще существует лишь два решения, выбор возможен лишь из двух вариантов – современная демократия западного типа или тоталитаризм... Что касается современной демократии западного типа, которую столь настойчиво предлагают разбираемые авторы (хулители) в качестве универсального решения всех общественных проблем, то в ее современном состоянии она вызывает ряд сомнений..." И.Шафаревич (радетель).

С невозможностью немедленного полного расцвета демократии на изрядно затоптанной в грязь клумбе российской действительности согласны оба лагеря, спор идет лишь о том, считать эту невозможность результатом достоинств русского народа или его недостатков. И радетели, и хулители сосредоточились именно на оценочной стороне проблемы – читая их полемику, порой можно подумать, что реальная судьба России волнует их гораздо меньше, чем ее престиж в ряду цивилизованных стран.

"Так в России вообще делается история. Русский народ трепещет и пятится перед грозным самодержавием, которое его режет на части, как Иванушку, и спекает заново. Потом, когда спечется, – признает хозяина своим и служит ему верой-правдой". Г.Померанц (хулитель).

"...мы имеем дело не с искренними попытками понять смысл русской истории, а с целью... внушить читателю взгляд, согласно которому русские – это народ рабов, всегда преклонявшихся перед жестокостью и пресмыкавшихся перед сильной властью… а Россия – вечный рассадник деспотизма". И. Шафаревич (радетель).

Забавно, что не только хулители (что естественно), но и радетели (что, впрочем, тоже естественно, если вдуматься) именно демократический уклад принимают за образец для положительной оценки. Но если хулители требуют привести русский народ к этому идеалу искусственным насаждением структуры и насильственным давлением извне (А.Янов так и называет это "духовной оккупацией"), то радетели, подсознательно скрывая от себя самих цель таких поисков, ищут более органичных (хоть, вероятно, еще менее реалистичных) путей к достижению этой цели.

"Важно для русских не то, будет ли у них Парламент, Земский Собор, Вече или еще что-нибудь в этом роде. Важно, чтобы у нации был вожак, который ослаблял бы неистовое взаимотрение русского народа, складывал бы русские энергии, а не вычитал бы их одну из другой, как это неизменно делается, когда воцаряется

хаос, именуемый некоторыми "русской общественностью", другими – "русской демократией" (В.Ш.).

"...Россия может ИСКАТЬ какой-то СВОЙ путь в истории… народ пойдет по пути, который он сам выработает и выберет... через свой исторический опыт" (И.Ш.).

А.Янов об этом поиске пишет: "Не заключается ли он в поисках альтернативы для европейской демократии? И не приводит ли такой поиск неизбежно даже самых благородных и честных мыслителей в объятия авторитаризма?"

С первого взгляда кажется, что противоречия между глашатаями обоих направлений неразрешимы, а по сути и те, и другие очень близко подходят к точке водораздела, т.е. к проблеме возраста народа, – они просто подходят к ней с противоположных сторон. Если бы они эту точку заметили и осознали, то, возможно, сами удивились бы близости своих позиций.

Это как поиски "зайчика" на картинке-лабиринте: после того, как ты его нашел, ты уже не можешь его потерять, ты всегда его видишь.

Не нужно НАСИЛЬСТВЕННО НАСАЖДАТЬ ДЕМОКРАТИЮ, точно так же, как не нужно утруждать себя ПОИСКОМ каких-то таинственных собственных путей, – просто надо потерпеть, пока народ-ребенок повзрослеет. Как ребенок неизбежно склонен к авторитаризму, так взрослый добровольно выбирает демократию – ибо только взрослый способен к сознательному выбору. Сам процесс взросления, очевидно, нельзя – И НЕ НАДО! – ни ускорить, ни замедлить.

Любопытно, что больше всего неосознанных указаний на это можно найти у самого ретивого и воинственного ретрограда И.Шафаревича. Предсказывая западной демократии скорую гибель, он в виде доказательства ссылается на то, что "из вновь возникающих государств почти ни одно не избрало государственный строй западного типа". Если признать верным склонность невзрослых народов к авторитаризму, утверждение Шафаревича нисколько не умаляет жизнеспособности демократии, оно только подчеркивает ее непригодность для "вновь возникающих государств".

Как определить наступление взрослости? Внимательный обзор исторического процесса возникновения и утверждения демократического уклада в Европе (я принимаю как аксиому тот факт, что демократия – и в Европе, и в США – это дитя европейской, точнее, христианской, цивилизации) наводит на мысль, что момент взросления народов весьма тесно связан с реформацией. По сути реформация содержит в себе все элементы

взросления: как переход от слепой веры в миф к его критическому переосмыслению, так и переход от коллективного сознания к утверждению суверенности отдельной личности.

Чем же характерна реформация?

Тот же дотошный радетель Шафаревич практически поставил точку над этим "i", введя определение "малый народ".

"Мы сталкиваемся с КАЛЬВИНИЗМОМ, оказавшим такое влияние на жизнь Европы XVI-XVII веков. В его идеологии... мы легко узнаем знакомые черты "малого народа".

Совершенно в унисон с Шафаревичем пишут цитируемые им злокозненные хулители – безымянный Горский, Г.Померанц и Б.Шрагин.

"Старое противоречие между беспочвенной интеллигенций и народом предстает сегодня как противоречие между творческой элитой и оболваненными и развращенными массами, агрессивными по отношению к свободе..." (Г-й).

"Новое что-то заменит народ. Здесь складывается хребет нового народа. Масса может заново кристаллизоваться в нечто неправдоподобное только вокруг новой интеллигенции" (Г.П.).

"Интеллигенция в России – это зрячий среди слепых, ответственный среди безответственных, вменяемый среди невменяемых" (Б.Ш.).

Остается только добавить "взрослый среди детей" – и все станет на место. А поскольку с дитяти взять нечего, можно будет с легкостью пересмотреть и даже убрать обидные слова вроде "невменяемый и безответственный", "зрячий среди слепых". И ждать реформации, т.е. состояния, когда прослойка "малого народа" достигнет такого размера, что сможет повлиять на поведение "большого".

–В августе 1991 года на миг показалось, что чудо уже произошло. Несомненно, толпа у Белого Дома в основном состояла из "малого народа" – она, однако, была достаточно большой, чтобы пересилить заговорщиков. Но сегодня уже ясно, что ей не удалось пересилить инертность и невзрослость "большого народа". Что ж, ведь и Февральская революция начиналась видимостью народной взрослости, а кому не известно, чем она кончилась? И опять народ-дитя ищет Отцовскую фигуру, чтоб ее гигантский силуэт мощно вырисовывался на пожарном фоне Российского неба.

За то, что я пыталась втолковать эти соображения Бену Сарнову, он проникся ко мне глубокой неприязнью и отверг нашу многолетнюю дружбу. Спрашивается, стоило ли терять старых друзей ради репутации Солженицына? Ну зачем мне

понадобилось лезть в чужие дела? Зачем после стольких лет благоразумного уклонения я снова стала обсуждать этот Богом проклятый «Русский вопрос», на который нет и не может быть общего ответа?

Тем более, что единственно возможный частный ответ – уехать подальше, забыть и растереть – я нашла уже так давно, что почти забыла вопрос. Забыть-то забыла, да растерла, видно, не до конца, раз опять потянуло меня на зыбкие российские топи и на топкие хляби исторической родины, России.

Ведь к концу жизни я нашла свое место на земле. Когда я увидела ровные ряды каменных плит на каменных склонах иерусалимского кладбища, мне открылась истина: Родина – это место, где твоя смерть имеет какой-то смысл. По еврейским представлениям умереть – значит "вернуться к своему народу". То-есть истинное понятие Родины кровно связано не с рождением, а со смертью. Обыденное коренное родство слов "родина" и "родиться" сбивает с толку, затушевывая эту связь и придавая чрезмерную значительность месту нашего рождения, – а ведь мы его не выбираем.

Но все же оказалось, что место рождения, пусть и не столь значительное, имеет власть над моей душой – памятными деталями, запахами детства, диктатом навечно заученного синтаксиса.

Есть ли еще язык, который я знаю так же хорошо, как он знает меня?

Есть ли еще вопрос, ответ на который подсказан мне не разумом, а чувством?

Можно ли убежать от себя самой?

За это все я и заплатила потерянной дружбой.

# ДЭЗИК САМОЙЛОВ

Оказывается, у меня жестокая память - она не хранит ничего умильного или утешительного, зато цепко удерживает мельчайшие детали смешного и разоблачительного. И потому мне нельзя писать о близких и любимых - ведь они могут неправильно меня истолковать и не поверить, что можно любить и нелепых, и неразумных, и эгоистичных.

Вот я и мучаюсь – о ком уже дозволено написать? Кого я уже не обижу дотошностью своего недоброго глаза?

В Опалиху мы с Сашей поехали по приглашению Давида Самойлова, известного в литературной Москве под кодовым именем Дэзик. Впервые я столкнулась с Дэзиком, когда вместо свергнутого Корнея Чуковского составителем двухтомника Уайльда был назначен славный человек, специалист по английской литературе Юлий Кагарлицкий, известный в литературной Москве под псевдонимом Джо Кагер.

Джо Кагер был школьным другом Дэзика и героем его веселой серии «Похождения Джо Кагера». Поскольку Джо Кагер был во всем полной противоположностью самого Самойлова, бабника и выпивохи, тот любил его такой же нежной любовью, какой Дориан Грей любил свой портрет. Награждая Джо Кагера своими пороками, он словно списывал на того свои грехи:

«Джо Кагер, будучи свиньей,
Решил разделаться с семьей,
И жизнь он начал холостую,
Презревши заповедь шестую.

Но чем же кончил этот гад?
Тот гад раздавлен был в борделе,
Когда сотрясся Ашхабад:
Господь, поскольку было надо,
Не пожалел и Ашхабада».

Или еще лучше: Джо Кагер, упившийся до потери сознания, валяется в канаве, и прохожие спрашивают:

«- Что это там за жо…,сэр?
- Там просто пьяный Джо, сэр!»

Я была хорошо знакома и с Джо Кагером и с его милейшей

женой Раей , составительницей моей первой в жизни книги «Английские народные сказки», и потому мне были особенно смешны побасенки Дэзика, не имеющие никакого отношения к реальности.

Лучше всего охарактеризовал Джо Кагера его четырехлетний сын Боря. На вопрос хозяина дачи, пришедшего с охоты, ходит ли Борин папа на охоту, Боря ответил со вздохом: «Мой папа ведь еврей, он только книжки умеет читать!»

С Джо Кагером я была знакома хорошо, а с Дэзиком шапочно – этаким необязательным литературным знакомством, когда целуются при встрече, как родные, ничего при этом друг к другу не имея. Однажда я приблизилась к его прославленной персоне, приведя к нему в дом своего старого приятеля из харьковских университетских времен, давно уже профессора, но несмотря на это известного во многих интеллигентских кругах под кодовым именем Мусик.

Говорят, что имя дается человеку не случайно, - а может, уже данное, судьбоносно влияет на его характер. В любом случае оба стареющих мальчика - Дэзик и Мусик, хоть один был маленький и лысый, а другой высокий и густо-седой, с первого взгляда ощутили свое сходство и прониклись взаимной братской любовью. А меня при этом небрежно вытеснили вон – потому что в ослепительном свете их внезапно вспыхнувшей приязни для меня не нашлось места. Я осознала это очень быстро, прислушиваясь к упоенному щебету этих светских бабников, обсуждавших, что делать с двумя парными пригласительными билетами на какое-то престижное зрелище, на которое они страстно захотели пойти вместе. Дэзик предлагал:

«Я пойду с женой, а ты (они тут же перешли на ты, что соответствовало их детским именам) с моей любимой женщиной».

На что Мусик возражал:

«Нет, лучше пусть жена идет с любимой женщиной по одному билету, а мы с тобой по другому».

Дело было, конечно, не в том, как организовать культпоход на престижное зрелище, а в прощупывании друг друга на предмет братского взаимопонимания. Не знаю, как они в конце концов, устроились с билетами - ведь я, к счастью, не была в этом треугольнике ни женой, ни любимой женщиной - но взаимопонимание они наладили отлично, иначе оно бы не продлилось до последнего дня жизни Дэзика.

Я же с тех пор Дэзика почти не встречала, так как наша семья вскоре выпала в осадок, подавши заявление на выезд в Израиль, что казалось (и было) в те годы верхом гражданской

дерзости. Однако неожиданно Дэзик предложил мне стать его «негром»: то-есть писать под его именем халтурные сценарии для радио пьес, что с его стороны тоже было несомненным актом гражданской дерзости. Для переговоров об этом мы с Сашей и поехали в Опалиху, где у Дэзика тогда был собственный дом.

Приглашение выпало на студеный декабрьский день 1973 года. Стоял ужасный мороз, но выбора у нас не было, зарабатывать необходимо было любым способом – нас обоих отовсюду выгнали, а наши скромные сбережения подходили к концу. Продрожав больше часа в насквозь промерзшей электричке, мы поспешили по заснеженным улицам искать дом Дэзика. Дом оказался вполне презентабельный, - типичный дачный дом, деревянный, с высоким крыльцом и крашеными наличниками.

Дверь нам открыл сам Дэзик – на нем был пестрый передник, в одной руке он держал раскаленную сковороду с шипящими в масле котлетами, под мышкой другой - большую плоскую куклу в красных байковый штанишках, из-под которых торчали крохотные черные валенки. «А вот и наши гости, - радостно воскликнул он, по-жонглерски ловко подбрасывая в воздух котлеты и тут же ловя их сковородкой. – Сейчас мы их будем котлетками кормить! И Антошечку тоже! Будешь котлетки есть, Антошечка?»

«Не буду!», – завизжала кукла, странно откидывая назад густо заросшую желтоватой паклей головку.

Тут до меня дошло, что это вовсе не кукла, а настоящий живой мальчик в черных валенках, давно не стриженный и чем-то очень огорченный. На нас он даже не глянул, всей душой сосредоточившись на своей обиде. Дэзик круто развернулся и рысцой понес сковородку и Антошечку в глубь дома.

«И напрасно, - выкрикивал он на бегу. – Котлетки такие вкусные, папа их сам пожарил!».

«Не буду!», – настойчиво повторял Антошечка, закидывая лохматую головку так далеко назад, что я испугалась, как бы он не сломал себе шейку.

Мы побежали следом и, наступая хозяину на пятки, ворвались в большую комнату, служившую одновременно кухней, столовой и гостиной. Кухня была представлена плитой и раковиной, столовая – обеденным столом и буфетом, а гостиная – большим старинным роялем. Рояль был весь раскрыт, и струны в нем дрожали. Дрожали они, пожалуй, даже чрезмерно под руками маленькой девочки, - на пару лет старше мальчика, - стоящей на коленях на вертящемся табурете и с остервенением лупившей по клавишам.

«Не надо так громко, Варенька!», – взмолился Дэзик, возвращая сковородку на плиту, но не вынимая Антошечку из подмышки. Впрочем, Антошечка и не пытался высвободиться из-под прижимающего его отцовского локтя, он затих и опять вернулся к той пассивной неподвижности, которая так уподобляла его кукле. Не обращая на них никакого внимания, Варенька продолжала издеваться над роялем.

«Ну зачем же так громко, Варенька? – вкрадчиво склонился к ее уху Дезик. – К нам ведь гости пришли. Ты лучше сыграй им какую-нибудь песенку, ладно?»

Варенька соскочила с табурета и, облокотившись о рояль, приняла неожиданно взрослую позу солирующей певицы. Однако петь она не стала, а воскликнула неожиданно взрослым голосом:

«Но мне же это неприятно! Неприятно! Неприятно!»

И картинным жестом уронила голову на клавиши с такой силой, что они взвыли. Не зная, что именно Вареньке неприятно - может быть, именно наше появление в счастливый день отцовского дежурства, - мы с Сашей, чтобы ее задобрить, льстиво засюсюкали, что мы тут как бы проездом и очень скоро уйдем. Нисколько не смягчась, Варенька окинула нас неуместно взрослым оценивающим взглядом и не поверила, что мы и вправду уйдем скоро. Она вернулась на свой табурет, но никакую песенку играть не стала, а снова принялась терзать рояль.

Дезик махнул свободной от Антошечки рукой:

«Ладно, пошли к столу. Ей в конце концов, самой надоест».

Мы послушно сели за стол, на который рядом с сильно початой Дэзиковой бутылкой коньяка выставили свою непочатую. Варенька была права – мы просидели за этим столом допоздна, пока гость и хозяин не прикончили обе бутылки. Моя доля в этом мероприятии была, как обычно, ничтожной, - я просто перевела небольшое количество ценного продукта, с остальным успешно управились мужчины.

По мере их продвижения к поочередному донышку бутылок, дети постепенно затихли – сначала Антошечка согласился съесть котлетку и заснул на диване под громкие стоны рояля, а вскоре и Варе наскучило однообразие ее музыки, и она тоже снизошла сперва до котлеток, а затем до дивана. В наступившей тишине мы некоторое время поговорили о моем возможном выступлении в роли Самойловского «негра», и даже посмотрели на видео какой-то мультик, снятый по сценарию Дэзика.

Однако мужские головы, разгоряченные большим количеством выпитого, не могли надолго сосредоточиться на такой мелкой материи, как изготовление халтуры для детских

передач. Очень скоро разговор естественным образом потек по привычному московскому руслу той эпохи, завихряясь вокруг судеб России. Мне, органически неспособной вознестись к духовным высотам алкогольного ясновидения, пришлось вынести их многочасовый сбивчивый спор, который в какой-то неуловимой точке свернул на противоречивую роль, предназначенную в этих судьбах Александру Исаевичу Солженицыну.

Я хочу напомнить, что за окном стоял декабрь 1973 года, когда Солженицын был главным героем, кумиром и символом российской интеллигенции. Он еще ни в чем не успел провиниться – он не только еще не вернулся в Москву транссибирским экспрессом, но даже не был выслан в Америку, не построил дом в штате Вермонт, и не написал «Красное колесо».

Мне вспоминается один забавный случай, отразивший то почти молитвенное преклонение, которым был окружен тогда Солженицын. Как-то в новогоднюю ночь мы были в Ленинграде и пришли в гости к драматургу Александру Володину. Он выскочил нам навстречу сияющий и счастливый, что с ним, человеком по природе мрачным, случалось крайне редко.

«Если бы вы знали, какую телеграмму прислал мне Солженицын! – звенящим от восторга голосом воскликнул он - Столько тепла, столько внимания! Вот, Саша, прочтите!» - и протянул Саше белый листок телеграммы.

«Дорогой Александр Моисеевич, поздравляю с Новым годом. Желаю счастья. Ваш Солженицын». – прочел Саша.

«Ну, а дальше?» - нетерпеливо потребовал Володин.

Саша перевернул листок: «Больше ничего нет».

«Как это нет? – не поверил драматург. - Я же сам читал ... Отдайте телеграмму».

Он вырвал у Саши телеграмму и забегал по ней глазами в поисках несуществующих слов: « Вот, я сейчас вам прочту... Где же это? Я сам читал...Столько тепла и внимания...».

Он поднял на нас огорченный взгляд, и по нашим лицам понял, что прочел между строк то, что ему хотелось прочесть – так велико было обаяние личности автора телеграммы в те годы.

Однако Дэзик проявил поразительное чутье - он уже тогда предвосхитил предстоящее развитие умонастроений либеральной российской интеллигенции.

Я уже не помню, за что именно он зацепился, но выступал он разоблачительно и страстно. А Саша с ним не соглашался, во-первых, потому что не был с ним согласен, а во-вторых, потому что любил спорить. В результате возник довольно стройный дуэт пьяных мужских голосов, в котором не было никакой щелочки

для моего трезвого женского. Так что мне ничего другого не оставалось, как слушать и запоминать.

Главная претензия Дэзика сводилась к тому, что Солженицын не хочет вести Россию демократическим путем. Главный довод Саши сводился к тому, что не все народы одновременно дозревают до демократии, и русский народ, возможно еще не дозрел, вот мол, и Достоевский тоже так думал. Я не берусь утверждать, что если бы Дэзик высказал мнение противоположное тому, которое он высказал, Саша возражал бы ему менее красноречиво. Склонность экспериментировать с собеседником была и осталась его важной характеристикой.

Однако Дэзик, не привыкший к лукавым возражениям, принял Сашины слова всерьез и близко к сердцу - он вспыхнул и гневно объявил, что Солженицын ничего не понимает в русском народе. Саша немедленно ухватился за новый поворот спора:

«А кто же понимает, если не Солженицын?» - риторически спросил он, намекая на «Матренин двор» и «Один день Ивана Денисовича».

Дезик, не задумываясь, проглотил наживку и запил ее полной рюмкой коньяка:

«Только мы с Юликом Даниэлем понимаем русский народ по-настоящему!», - выкрикнул он, нисколько не смущаясь зияющими прорехами в своем заявлении.

«Вы хотите сказать, что вы, Давид Кауфман и Юлий Меерович, понимаете русский народ лучше, чем великий русский писатель Александр Солженицын?», - усомнился Саша, с удовольствием перевоплощаясь в истинного антисемита, срывающего с подозреваемых фиговые листки псевдонимов.

Отмахнувшись от великого писателя Дэзик сосредоточился на определении «русский»: **«Какой Солженицын русский? Ничего русского в нем нет! Вот мы с Юликом настоящие русские!»**

Пока я решала, насколько он прав, если измерять степень «русскости» количеством выпитого в одном застолье, Саша понял, что случайно подхваченная им роль антисемита как нельзя лучше подходит к случаю:

«Какие из вас русские? Вы же евреи, а русский народ – православный!». Только этого Дэзику не хватало для полного комплекта: «Русский народ, может, и православный, а вот Солженицын нет! Ничего он не понимает в православии! Настоящие русские и православные мы с Юликом!» «Такие православные, хучь в равины отдавай», - смачно процитировал антисемит Саша, после чего за столом поднялся невообразимый шум, от которого проснулись дети и стали требовать ужина,

любви и внимания. Оставив Дэзика хлопотать по хозяйству я умудрилась вытащить Сашу из-за стола и вывести на улицу. На улице было очень холодно и тихо. Но ни мороз, ни тишина не отрезвили Сашу – наслаждаясь своей вновь обретенной ипостасью антисемита, подтвержденной убедительным количеством выпитого, он заорал на всю Опалиху, которая то ли спала, то ли притворялась спящей. Сашин голос заслуживает особого упоминания – благодаря его зычности Сашины командирские данные получили самую высокую оценку на военных сборах, несмотря на то, что он был самым ленивым из курсантов. Хоть он спал на всех занятиях, и даже стоя, когда он просыпался и кричал «Огонь!», стены начинали качаться еще до выстрела.

И вот, бредя к вокзалу по притихшим улицам Опалихи, он во всю мощь своего командирского голоса выкрикнул:

«Жиды проклятые! Солженицын им не русский! Солженицын им не православный! Они сами себе - русские и православные! Веером их от живота, жидов проклятых!».

Я так и съежилась от этого монолога – мне показалось, что сейчас разъяренные жители Опалихи выскочат из своих крепостей, бросятся на нас и давай веером от живота, веером от живота! В моем страхе не было никакой логики, но от этого он не становился слабее, - ведь я с детства привыкла пугаться громко сказанного слова «жиды». Зато Саша попробовал на язык свою бичующую тираду и, словно Всевышний в первый день творения, понял, что это хорошо. А потом, следуя примеру Всевышнего, стал снова и снова повторять то, что было хорошо. И повторял с небольшими интервалами всю дорогу до самого вокзала. К счастью, как я смогла заметить, его призывы не вызвали немедленного еврейского погрома – не потому ли, что большинство обитателей Опалихи сами были жидами?

Электричка подошла через минуту после нашего прихода на вокзал, а в электричке Саша немедленно уснул и проспал почти до самой Москвы. Проснувшись, он сделал новую попытку вернуться к прерванному сном монологу, но так хорошо уже не получилось - то ли он сорвал голос на морозе, то ли градус накала снизился за время пути.

На этом наше драматическое столкновение с еврейским либерализмом можно было бы считать законченным, тем более, что из проекта моего превращения в Дэзикового «негра» ничего не вышло, уж не помню, почему. Я тогда очень из-за этого огорчалась, но оказалось, что все к лучшему в этом лучшем из миров – за освободившееся в результате время мне удалось извлечь из себя давно томившуюся во мне пьесу «Матушка-барыня». Эту пьесу про женскую судьбу и про абортную палату

поставили в театре и в кино в разных странах и на разных языках.

Однако у нас не получилось поставить точку в конце Сашиного страстного монолога о претензиях Дезика на роль самого русского и самого православного писателя земли русской. Когда судьба после почти тридцатилетнего отсутствия вновь занесла нас в Москву, мы обнаружили, что идеи Дэзика за эти годы не только не погасли, но, напротив, разгорелись воистину ярким пламенем. Если тогда он был первым и, возможно, единственным смельчаком, обвинявшим Солженицына в непонимании души русского человека, то теперь уже целые коллективы сделали эти обвинения своей главной жизненной задачей.

Мы с Сашей пока еще не решили, как с ними быть – помиловать или все же веером от живота.

# МЕНАХЕМ БЕГИН

Мне не приходилось встречаться с Бегиным лично, я только однажды посетила его сверх-скромную квартирку в скромной блочной пятиэтажке в одном из скромных микрорайонов Иерусалима. Это случилось, когда Бегин, будучи премьер-министром, жил в официальном доме премьер-министров Израиля, а его личную квартиру показывали знатным гостям иерусалимского мэра Тэдди Колека в виде дессерта к великолепному званному обеду в ресторане отеля «Кинг Дэвид».

В число знатных гостей я затесалась случайно, спрятавшись от охраны за знатными спинами четы Синявских, гостивших тогда в Иерусалиме по приглашению Тэдди Колека. Я бы ни за что на этот званный обед не пошла, если бы Синявские, не знавшие ни одного иностранного языка, не умолили меня слезно не бросать их на съедение многоязыкой толпе гостей иерусалимского мэра.

Квартирка Бегина ни на что не притязала - крошечная прихожая, у окна гостиной убогий кофейный столик под кружевной салфеткой времен моей бабушки, вдоль стен шаткие полки с бесхитростными безделушками. Зато она честно отражала истинное лицо своего хозяина. Этот человек никогда не рисовался и всегда был равен самому себе. Он выглядел паяцем и произносил свои речи с невыносимым для моего интеллигентского слуха пафосом, но со временем мне пришлось признать, что его влияние на окружающих не соответствует его почти карикатурному облику. Как оказалось, за неприглядным фасадом скрывалась неподдельная сущность, способная преодолеть все препятствия, создаваемые обликом.

Где-то в конце семидесятых мы получили два приглашения - на субботний прием у Ханоха Бартова, тогдашнего председателя Союза писателей Израиля, а назавтра — на свадьбу сына нашей уборщицы Ознат, шофера автобусного кооператива "Дан".

Спешу напомнить, что главным событием тех лет был драматический государственный переворот, ознаменованный переходом власти из рук рабочей партии в руки Ликуда, во главе которого стоял тогда Менахем Бегин.

Переворот этот случился непредвиденно и непредусмотрено. Никогда не забуду разговор с преданным членом рабочей партии Нехемией Леваноном, руководителем отдела борьбы за выезд советских евреев при канцелярии премьер-министра. Естественно, премьер-министром в те дни был глава рабочей партии. Где-то за месяц до судьбоносных выборов 1977 года Александр Воронель

спросил Нехемию, кто станет во главе его ведомства в случае победы Ликуда. В ответ Нехемия засмеялся.

«Видно, что вы недавно приехали в страну, Саша, - сказал он, с жалостью глядя на наивного Воронеля. – Рабочая партия не может проиграть, она стоит у власти уже семь каденций. И так будет всегда».

Наивным оказался не Воронель, а Нехемия: рабочая партия проиграла выборы с грандиозным разрывом - в первый, но не в последний раз.

Итак, в пятницу мы отправились в гости к тем, кто оплакивал этот проигрыш. Дело было в середине июля, и Тель-Авив, как положено, задыхался во влажной июльской жаре. Однако, несмотря на жару, на просторной террасе писательской квартиры в Рамат-Авиве собрались все сливки израильской левой интеллигенции — литераторы, художники, музыканты. Туалеты дам отличались простотой дорогих бутиков, хорошо сочетающейся с униформно непритязательной оправой их очков, представляющей два плоских металлических кружочка, перпендикулярно поддержанных тонкими прямыми заушинами без прикрас.

Прихлебывая бледнозеленый огуречный суп-коктейль из бокалов, напоминающих тюльпаны на длинных стеблях, гости разбились на шумные оживленные группы. От группы к группе порхало одно и то же крылатое слово "Бегин" — оно взлетало над головами, перекрывая все другие слова, то в сольном исполнении, то в слаженном дуэте, а то и в многоголосом хоре: "Бегин, Бегин, Бегин!"

Как они его НЕ любили! Эта нелюбовь придавала пряный привкус каждой ложке супа, каждому глотку вина. Когда с супом было покончено, нам подали овальные тарелочки дымчатого стекла с бананами, жаренными в сум-суме, и кто-то из гостей — кажется, знаменитый автор сценария скандального фильма "Хирбет-Хиза" — воскликнул:

«Может, хватит о Бегине7 Для чего мы здесь собрались? Чтобы говорить об этом чудовище?»

И несколько женских голосов охотно поддакнули:

«И впрямь, разве других тем нет?»

«С этой минуты — ни слова о Бегине!»

«Ни слова!»

«Договорились - ни слова о Бегине!»

Над террасой нависло тягостное молчание. Внизу во дворе дети играли в мяч. Совсем близко шуршало море. Кто-то откашлялся, и опять стало тихо. Исполнительница популярных песен пожаловалась, что жарко, и все радостно закивали: да, да,

жарко, летом всегда жарко. Это откровение, не слишком оригинальное, но верное, полностью исчерпало интерес присутствующих к беседе.

С минуту было слышно только позвякивание ложечек о дымчатое стекло тарелочек, а потом чей-то голос выкрикнул: "Если бы не Бегин!», два других подхватили: "Ах, если бы не Бегин!."; и вслед им хор снова зазвенел восторженно и слаженно: "Бегин, Бегин, Бегин!."

И опять стало хорошо, шумно и весело, вино приобрело прежний терпкий привкус и с моря потянуло долгожданной прохладой.

Назавтра, в субботний вечер, мы посетили тех, кто внес свой вклад в победу Ликуда. В свадебном зале на пятьсот персон все выглядело совершенно иначе, чем на вчерашней элегантной приморской террасе — там веселился простой народ, "амха". Шоферы автобусного кооператива "Дан" были настоящими мужчинами - они предпочитали блондинок. В ответ на что их жены, торжественно облаченные в разноцветные бальные платья из тафты и атласа, вытравили волосы перекисью водорода и униформно превратились в блондинок, ничуть не смущаясь почти поголовной смуглостью кожи и чернотой глаз.

Огромный зал был тесно уставлен столами, накрытыми белыми скатертями, на столах без всяких ухищрений были сервированы народные закуски — питы, хумус, тхина, маслины. Блондинки и их мужья с апетитом поедали эту вкусную снедь из простых фаянсовых тарелок и запивали "Кока-колой", «Спрайтом» и "Кинли", которые обильно наливали в незатейливые стаканы из пластиковых бутылок.

Жених был наряжен в белой чесучевый костюм и в белую кипу, невеста — в белое нейлоновое платье и в белый нейлоновый веночек, отороченный белой нейлоновой вуалью.

Это была истинно народная свадьба - выйдя в туалет, я никак потом не могла найти нужный мне зал. В двух соседних залах идентичные пергидрольные блондинки, сидя за идентичными столиками, уставленными хумусом и тхиной, пили "Кинли" за здоровье абсолютно идентичных женихов в белых чесучевых костюмах и за их невест в белых нейлоновых платьях и в белых нейлоновых веночках, отороченных белыми нейлоновыми вуалями.

По завершении свадебной церемонии белый жених взял белую невесту за руку и торжественно повел ее по проходу между столиками. Грянула музыка, и гости, словно сговорившись, дружно ударили в ладоши, поразительно слаженно скандируя одно и то же слово — из-за музыки сразу нельзя было разобрать,

какое. Но постепенно музыка вошла в русло равномерного однообразия, и хор гостей, перекрывая ее, зазвучал, как языческая молитва.

Нет, они не чествовали новобрачных и не желали им долгих лет, — страстно и самозабвенно хлопая в ладоши, скандировали они: "Бегин, Бегин, Бегин!"

И лица у них сияли той же благодатью, какая осеняла лица представителей израильской интеллектуальной элиты на вчерашней рамат-авивской террасе над морем. Знак – положительный или отрицательный – был не существенен. Существенна была сила эмоций, которые возбуждало само произнесение имени этого неприглядного, низкорослого человека, не соответствовавшего никаким эстетическим канонам.

Впрочем, насчет эстетических канонов я, возможно, ошибаюсь. Как-то мы с Сашей направлялись на обед к гостившей в Израиле американской профессорской чете. Увидев Сашу, надевшего по этому торжественному поводу галстук, наш трехлетний внук Игаль восторженно захлопал в ладоши и воскликнул:

«Саша, какой ты красивый! Совсем как Бегин!»

Бедняжка, он по молодости лет считал Бегина красивым! Кто знает, - возможно, он с детской невинностью смотрел в корень и был прав.

Личность Бегина была так весома, что злые языки утверждают, будто Голда Меир запланированно умерла именно в тот день, когда ему должны были вручать Нобелевскую премию мира. Великая старуха даже жизни не пожалела, только бы не дать сопернику насладиться торжественной церемонией – ведь ему пришлось покинуть праздничную трибуну и срочно отбыть в Иерусалим на ее похороны.

# АЛЛА ЗИМИНА

Алла Григорьевна Зимина любила рассказывать, что вышла замуж за Ларкиного отца, Иосифа Ароновича Богораза, в зоне на Воркуте, когда уголовники проиграли ее в карты, и ей срочно нужно было найти сильного мужчину, способного ее защитить. Далее следовали художественные подробности их короткого сватовства, – вроде того, как Она при всем честном народе смело предложила Ему руку и сердце, а Он зарделся, как девушка, пролепетал, что польщен, и немедленно согласился. Целью подробностей было придание правдоподобия романтической истории этого замужества, и присутствовавший при рассказе И.А. всегда согласно кивал, нисколько не противореча Аллочке, так же, как не противоречил он и Ларке, изображавшей то же событие совершенно иначе.

По Ларкиной версии Аллочка после освобождения уехала с Воркуты куда-то, то ли в Рязанскую, то ли в Саратовскую область, где ей жить было позволено, но оказалось невозможно – ни денег, ни друзей, ни работы, ни крыши над головой. И она решила вернуться на Воркуту – там, хоть и вечная ночь, но остались друзья, готовые помочь устроиться на работу. И они помогли – грамотную Аллочку приняли в санчасть помощником аптекаря, а заведовал санчастью Иосиф Аронович. Дальше обе версии неплохо совпадали – главным в них была абсолютная уверенность, что любой мужчина, которому Аллочка предложит руку и сердце, зардеется, как девушка, пролепечет, что польщен, и немедленно согласится.

И всем было ясно, что реакция любого наперед заданного мужчины на предложение ему руки, сердца или какой-нибудь другой части Аллочкиного тела иной быть и не могла. Чтобы поверить в это, достаточно было одного беглого взгляда на это тело, даже когда его хозяйке уже давно перевалило за шестьдесят. Она напоминала греческую богиню – неоспоримо божественной красотой лица в сочетании с поразительной статью и стройностью при росте не менее ста восьмидесяти сантиметров. Ведь по слухам греческие богини были на голову выше обыкновенных смертных, чтобы смертным было неповадно смотреть им глаза в глаза. Аллочка несомненно была создана по божественному стандарту, но Иосиф Аронович все-таки был выше ее ростом, хоть, возможно, нечасто решался смотреть ей глаза в глаза. И подчинялся ей во всем беспрекословно.

А как было ей не подчиниться, когда она умела все –

заговаривать кровь и ожоги, снимать сглаз и зубную боль, привораживать и отвораживать, отводить злую волю и предсказывать будущее? А, если верить ей самой, то не только предсказывать, но подчас и подправлять, слегка, конечно, не принципиально, но все же подправлять – кому протянуть руку помощи, а кого и подтолкнуть при спуске на скользкой дорожке. Она этим не то, чтобы похвалялась, но давала понять, что лучше с нею не ссориться. Впрочем, никто с ней ссориться и не стремился, разве что Ларка иногда – и не из-за каких-то серьезных разногласий, а просто так, по классическому сюжету мачеха-падчерица. Хоть претензий к отцу за женитьбу на Аллочке она не имела – мать ее публично от него отреклась еще в середине 30-х, сразу, как только его посадили.

Тем более, что все в Ларкином окружении считали эту женитьбу большой удачей Иосифа Ароновича – ведь не каждый день обыкновенному еврею предлагают в жены античную богиню. Да при том еще богиню не простую, а поющую. Аллочка часто и охотно пела в дружеском кругу песни собственного сочинения, аккомпанируя себе на гитаре. И делала это мастерски! Песни у нее были нетривиальные, - живые, полнокровные, сверкающие юмором и смехом, хоть жизнь она прожила весьма драматическую. А точнее, - нормальную жизнь ровесницы двадцатого века, отпрыска аристократической семьи, в стране победившего хамства.

По Аллочкиной версии она была наследницей графского рода Алсуфьевых, о чем не раз упоминала в своих песнях. Скептичная Ларка, привычно снижая полет мачехиной фантазии, настаивала, что песни песнями, фамилия фамилией, а Аллочкины Алсуфьевы никакие не графья, а всего лишь обыкновенные дворяне, их дальние родственники.

Проверить, кто из них говорил правду, не было никакой возможности, да и ни к чему, вроде бы, - Аллочкиными песнями мы заслушивались и без точного знания ее родословной. К сожалению, сохранить их магнитофонную запись нам не удалось - при выезде из СССР нам было предложено все имеющиеся кассеты выложить на невинного вида заурядный столик, который оказался специальным приспособлением для размагничивания кассет. Так что на суд истории я могу представить только то, что сохранилось в моей памяти.

Там хранится песня о графине-бабушке, «розе девятнадцатого века», которая, нежно перебирая клавиши старинных клавикорд, напевала по-французски «сочиненный ею дедушке романс», завершавшийся словами: «Адью л-амур! Адью л-амур!». В песне был такой куплет:

Дорогая, ты вела меня за ручку,
Меж платанов в тихом сумраке аллей,
Чтоб сквозь жизнь твоя изнеженная внучка
Шла дорожкой бабушки своей.

Увы, из замысла бабушки ничего путного не вышло, и изнеженной внучке довелось хлебнуть всех горестей и радостей ее смутного и грозного времени. В семнадцать лет революционная волна занесла Аллочку из разоренного графского имения в разоренную голодную Москву, и только ее исключительная красота и артистизм помогли ей выстоять и выжить.

Каких только работ она ни перепробовала, в каких только компаниях ни побывала: и пирожки с лотка продавала, и канкан отплясывала в опереточных спектаклях, благо ноги у нее, на зависть современницам, были исключительно длинные. Именно там, в оперетте, или, как она говорила « в оперетке», Аллочка обнаружила в себе песенное дарование, которое провело ее по жизни надежнее, чем бабушкина охраняющая рука. Правда, не меж платанов в тихом сумраке аллей, а по этапам и лагерям, но все же провело по дорожкам ада, и вывело наружу, и не допустило, чтобы сгинула. А ведь вполне могла сгинуть – как многие, не столь даровитые и живучие!

Рассказы Аллочки о ее дотюремной юности порой настолько фантастичны, что невольно хочется верить Ларкиному здравому смыслу – впрочем, всякий, кто знает Ларку, не сможет не усмехнуться при одном только упоминании о ее здравом смысле. Так Аллочка, пописывавшая стишки еще в графском имении, настаивала, что была дружна с кружком В. Маяковского и что именно ее перу принадлежит знаменитое пародийное четверостишие:

Я от Лили Краснощековой, лелеемой,
Ты же от героя интендантских выдач,
Получили оба по шее мы,
Уважаемый Лев Давыдыч.

На моей памяти это четверостишие уже прочно стало фольклором, народным достоянием, вроде цитат из «Горя от ума», так что, надеюсь, не надо объяснять, кто за что получил по шее и кто такие Лиля и уважаемый Лев Давыдыч. А насчет героя интендантских выдач могу напомнить, что таким было прозвище Фрунзе, который сменил Троцкого на посту Военного Министра.

Услыхав от меня рассказ об Аллочкином авторстве, мой блаженной памяти папа пришел в дикую ярость и обругал ее самозванкой, уверенный в том, что четверостишие написал сам Маяковский. И я не могла его переспорить – ведь заверенной у нотариуса рукописи никто в руках не держал. Так что правда об истинном авторстве насмешливого четверостишия ушла в могилу вместе с Аллочкой и ее современниками.

Другой любимый Аллочкин рассказ был посвящен ее борьбе с царившим в Советской России сексуальным невежеством. Саму Аллочку, разумеется, ни в каком сексуальном невежестве упрекнуть было нельзя - с чем-с чем, а с этим была согласна даже Ларка. Но многие Аллочкины друзья жестоко страдали от сурового запрета на сексуальное образование и обращались к ней за советом – знали, видно, к кому обращаться! Так что ей совместно с ее первым мужем, художником Зиминым, пришлось открыть у себя дома нечто, вроде кратких курсов эротического просвещения.

Дело было поставлено так: страдающая пара – предположим, Ваня и Маша, - приходила в назначенное время, кровать отгораживали ширмами, и начинался урок.

«Принимаем такую-то позу!» - командовали хозяева. Кровать скрипела – ученики напрягались изо всех сил, выполняя приказ.

«Справились?»

«Вроде бы справились» - доносилось из-за ширмы.

«Теперь пусть Маша положит правую руку туда-то, а Ваня – левую ногу туда-то».

Ваня и Маша в усердии превосходили самих себя, и в конце концов, уходили удовлетворенные. Одну подругу так увлекли результаты полученных уроков, что она предложила чете Зиминых объединиться для повышения градуса эротических восторгов:

«Почему все живут ан-труа (втроем)? Давайте жить ан-катр, (то есть вчетвером)!»

Не помню уже, как Аллочка оценила утверждение, будто все живут ан-труа, но от предложения жить ан-катр она решительно отказалась:

«Я сразу разгадала намерения этой стервы – никакой ан-катр ей был не нужен, просто она решила заполучить моего Зимина!»

Не исключено, что именно по доносу этой стервы – а может, какой-нибудь другой, - Зиминых вскоре арестовали и надолго отправили в страну ЗэКа. Впрочем, времена были такие, что было несущественно, кто именно донес и о чем: Зимины вращались в кругах обреченных, и сами были обречены. Похоже, художник Зимин из этого путешествия не вернулся, во всяком случае в

Аллочкиных сказках он больше не фигурировал.

Аллочка не очень любила распространяться о своих лагерных приключениях, но обо многом можно судить по ее песням. Особо запомнилась мне песня о маленьком бревенчатом домике и о девчонке с Ангары.

«Не стежками, не дорожками,
Вышел навстречу ты,
Маленький домик бревенчатый
С двумя око-о-шк-ами!»

Ах, не в моих скромных силах передать завораживающий ритм этой песни, где «маленький домик бревенчатый» повторяет судьбу самой Аллочки. Вот он, «связанный, как наказанный», сброшен с кручи на плот, чьей-то рукой направленный «в речной водоворот». «Рядом с тайгой непролазною» плывет он с верховий Ангары, с теплого зеленого юга, где шумят и качаются деревья, вдаль, на север, в пустынное мертвое царство вечной мерзлоты:

С прощальною песней дальнею
На запад ушли поля,
И показалась печальная
Игарская земля.

Я тоже подплывала к Игарской земле с юга и видела ясно - никаких уходящих на запад полей там, среди тайги непролазной, не было и быть не могло. Поля эти остались далеко позади, в другой жизни, которой Аллочку лишили, «меж платанов, в тихом сумраке аллей».

Мне довелось побывать в Игарке не в роли подневольного ЗэКа, а в привольном качестве туристки. Меня доставил в порт Игарка красивый белый пароход, где пассажиры в купальных костюмах целый полярный день прохлаждались в шезлонгах на продуваемой легким ветерком палубе, а к обеду наряжались в лучшие одежки и отправлялись есть поданную на красивых белых тарелках свеже-поджаренную только что выловленную рыбу-чавычу. Только редким счастливцам удается попробовать эту необычайного вкуса рыбу , которую невозможно транспортировать – она такая нежная, что портится даже от прикосновения, не то что от перевозки. И все же мне редко приходилось чувствовать себя погруженной в такое море печали, в какое загнала меня и моих спутников Игарская земля.

У Аллочки не было там моих привиллегий – белым пароходом ей служила вонючая баржа, белой тарелкой – жестяная

миска, а короткий полярный день стремительно превращался в бесконечную полярную ночь. И нигде, ни в какой книге Бытия, не было записано, сколько ей здесь суждено пробыть и суждено ли ей когда-нибудь вернуться в нормальную человеческую жизнь. Но на то она и была античная богиня, чтобы бросать вызов судьбе – она не хотела допустить гибели бревенчатого домика, насильственно пригнанного на далекий север и предательски покинутого на болотистом берегу Енисея. Выждав пару секунд после печального аккорда, она с силой ударяла по струнам, и голос ее взмывал к потолку:

Заброшенный, как подкошенный,
До вешней стоял поры,
Весною пришла с матросами
Девчонка с Ангары!»

Девчонка с Ангары тоже, конечно была Аллочка, уже научившаяся к тому времени заговаривать кровь и ожоги, снимать сглаз и зубную боль, привораживать и отвораживать, отводить злую волю и подправлять будущее. И готовая прийти куда угодно на барже, «с матросами» – можно представить себе, что это значило в тех условиях!

«И целовалась с матросами
Девчока с ангары!»

Она пела эту песню через много лет в Москве, и завораживала своим пением старых и молодых. В небольшую комнатку на Кадашевской набережной, где висел на стене чудом сохранившийся Аллочкин портрет двадцатых годов, по вечерам битком набивался народ - друзья, друзья друзей, случайные знакомые, случайные знакомые случайных знакомых. Аллочка пела, а мы подпевали, кто хорошо, кто похуже, но все одинаково вдохновенно. И даже я, хоть душу мне жгло воспоминание о том, как в седьмом классе, когда я так же вдохновенно выводила вслед за другими девочками мелодию популярного тогда «Заветного камня», меня очень обидно попросили замолчать и не нарушать слаженной стройности хора.

В доме у Аллочки никого не просили замолчать – там всегда были рады гостям. Не все песни у нее были грустные, нет – не так, у нее не было грустных песен, просто она умело строила драматургию каждой песни так, чтобы из противоборства разных начал рождался живой, увлекательный текст, порой трогательный, порой смешной.

Этот, например, о любви:

«Рельсы, рельсы, бесконечные рельсы,
Это мысли твои и надежды мои,

Рельсы, рельсы, это дальние рейсы,
Это рядом бегущие две колеи,
Неразлучные две колеи!»

А этот – о прогрессе:

«Все стало на места, но нет былой программы,
И музыка не та, и женщины не дамы,
Не знаю, в том повинны Москва или Париж,
Но даму от мужчины не сразу отличишь.
Идут – кто в шортах, кто в брюках зимних,
А кто в курортных – невыразимых,
В рубашках, в тельняшках,
А кто – в подтяжках и в галифе.
Так выпьем же, так выпьем же за братьев Монгольфье,
За славных авиаторов, отважных Монгольфье,
А кто не пьет, а кто не пьет,
Тому мы скажем «Фе!
Мы скажем «Фе»!

Процесс над Юликом старики вынесли стойко, но Ларкины эскапады , завершавшиеся то тюрьмой, то ссылкой, были для них тяжкими ударами. Однако друзья их не забывали – в их гостеприимном доме и без Ларки было по-прежнему людно, кажется, даже более людно, чем раньше. Я не исключаю, что среди гостей нередко попадались и стукачи, но ведь от них все равно некуда было деваться.

Иногда мы не пели, а слушали чтение чьих-нибудь стихов или прозы. И мне приходилось там читать – и стихи, и переводы, и пьесы, к счастью, я писала тогда одноактные. И.А. тоже не отставал от других: взбодренный обстановкой литературного салона, он неожиданно начал писать – причем не какие-нибудь рассказики, а большие романы. Его роман «Наседка» из лагерной жизни был первой книгой, вышедшей в свет в нашем израильском издательстве «Москва-Иерусалим».

Со смертью их обоих – а они, как в сказке, жили долго и умерли почти в один день, - у меня связана какая-то жуткая, мистическая история.

Где-то в сентябре 1990 года мы получили письмо от И.А., в котором он сообщал печальную новость: Аллочка поскользнулась, упала и сломала шейку бедра. Поскольку за это ее навечно уложили в постель, он просил прислать ему посылку с израильскими супами в пакетах, - в Москве тогда было голодно, а старики всегда жили только на свою скудную пенсию. Я собрала

эту посылку очень старательно и любовно, так, чтобы в минимальный вес втиснуть максимальное количество продуктов. Помнится, тогда в России были какие-то ограничения, позволявшие считать посылку, не превышающую определенного веса, бандеролью, а за бандероль там не надо было платить пошлину.

Достигнув совершенства, я побежала на почту и отправила эту бандероль – а не посылку! Месяца через два я получила извещение о том, что бандероль вернулась в связи с отсутствием адресата. В тот же день пришло письмо от Аллочки, сообщавшей, что Иосиф Аронович скоропостижно скончался, и Ларке посылку не выдают, потому что он не оставил ей доверенности. Не могу ли я переадресовать посылку поскорей, - ей, Аллочке, уже недолго осталось жить и очень бы хотелось полакомиться легендарными израильскими супами.

Я переадресовала эту злосчастную бандероль, но опоздала – к тому времени, как она дошла до Москвы, Аллочка тоже умерла! Это случилось в студеный декабрьский день, так хорошо описанный ею в песне Андерсен»:

Столбы гудели, как моторы,
От стужи ежились дома,
И сквозь опущенные шторы
Вползала в комнату зима,
Вползала в комнату зима,
Вползала в комнату зима!

Я надеюсь, что Аллочка и Иосиф встретились ТАМ, как она предсказала в своей песне:

И тут увидели деревья,
Как пробираясь между стен,
Навстречу Снежной Королеве
Идет с улыбкой Андерсен,
Идет с улыбкой Андерсен!
Ан-дер-сен!

И Снежная Королева, была конечно же, Аллочка!

# Таня и Маргарита

В доме у Туси, жены подпольного советского миллионера, я впервые увидела дочку Маргариты Алигер, Таню Макарову, с которой уже встречалась на страницах знаменитой поэмы ее матери «Зоя». В одной из глав своей поэмы Маргариты Алигер удивляется мистическому совпадению имен. Почему, спрашивает поэтесса, зверски замученная немцами партизанка сомнительных достоинств – впрочем, в год написания поэмы несомненных, - назвала себя «именем ребенка моего»? И продолжает «Стала ты под пыткою Татьяной…»

Таня Макарова стала Татьяной не под пыткой, она законно получила свое имя от родителей. Но все же и я усматриваю некую мистическую связь в совпадении имен любимой дочери и любимой героини Маргариты Алигер – ведь имя для дочери поэтесса выбрала до того, как Зоя под пыткой назвала себя Таней. А Таню в героини она выбрала по собственной воле, - уж не зачарованная ли тем, что несчастная девчонка перед смертью из множества возможных женских имен выбрала себе имя ее дочери?

Мне иногда кажется, что этим выбором мать-поэтесса определила судьбу своей дочери, а судьба той обернулась очень печальной. Когда я впервые увидела Таню Макарову за чайным столом у Туси, я была потрясена ее удивительной, неправдоподобной красотой. Она была такая прекрасная, такая тоненькая и прозрачная, что казалась видением, сошедшим со старинной персидской миниатюры, но так и оставшимся в двухмерном пространстве. А кроме того, она была мертвецки пьяна. Я не думаю, что ей было тогда больше двадцати лет, но бросалось в глаза, что это состояние ей привычно, как вторая кожа. Не знаю, может быть, беда была в том, что первая кожа у нее была слишком тонкой, но глаза ее никак не могли сфокусироваться на какой-нибудь одной точке, а беспомощно метались по комнате в безнадежной попытке зацепиться за что-нибудь прочное.

Когда мы уходили, сын Туси Вика вызвался отвезти ее домой на такси, и попросил Сашу помочь ему дотащить ее до машины. По дороге она крепко обхватила Сашину шею руками и начала, рыдая, умолять его: «Не надо! Ну, пожалуйста, не надо!». Похоже, было, что некоторые ее друзья охотно пользовались ее бессознательным состоянием, когда такая возможность им предоставлялась. И мне стало жалко Танину мать, которая была любимой поэтессой моей юности.

Мы с нею практически не были знакомы, мы встретились всего один раз, но встреча эта была отмечена ее острой неприязнью ко мне. Я, собственно, не сделала ничего плохого, чтобы заслужить эту неприязнь. Просто мне было двадцать пять лет, и я была одета в необычайно идущий мне синий бархатный костюмчик, а ей было под пятьдесят, и она стояла у входа в Дом Литераторов, кутаясь в неприглядный коричневый кардиган, невыгодно подчеркивающий ее желтоватую бледность. Но и это было бы ничего, если бы старый петух Павел Антокольский, которого мы обе поджидали у подъезда, не предпочел меня ей, откровенно и беспардонно. Выскочив из дверей ЦДЛ, он обхватил меня за плечи настолько крепко, насколько это позволил его маленький рост, и принялся рассказывать ей, как я замечательно перевела Уайльда. Все время, пока он с ней делился своими восторгами по моему поводу, она недружелюбно разглядывала меня из-под встрепанной шапки темных с сильной проседью волос и молчала. А мне так хотелось сказать ей:

«Хотите, я почитаю вам свои любимые стихи? Могу это:

Я в комнате той, на диване промятом,
Где пахнет мастикой и кленом сухим,
Наполненной музыкой и закатом,
Дыханием, голосом, смехом твоим…

Или нет, лучше другое:

Люди мне ошибок не прощают,
Что же, я учусь держать ответ –
Легкой жизни мне не обещают
Телеграммы утренних газет.

Но если не хотите это, я могу любое другое – я все их знаю наизусть…»

И услышав свои стихи, она бы улыбнулась и перестала сверлить меня жестким недоброжелательным взглядом. Но я не успела ничего произнести, потому что она резко оборвала декламацию Антокольского:

«Ладно, Павел, поговорим в другой раз. А сейчас мне пора!»

И не попрощавшись со мной, резко повернулась и пошла по улице Герцена в сторону площади Восстания, все так же зябко кутаясь в свой бесформенный кардиган. Антокольский, похожий на усатого моржа в берете, удивленно пожал плечами: «Какая муха ее укусила?» И потащил меня в буфет ЦДЛ, где вовсе не стал

слушать мои стихи, а, заказав нам обоим какую-то выпивку и закуску, начал хватать меня за коленки, время от времени выкрикивая: «Ах, Нинель Воронель, не ходи на панель!». Я то и дело осторожно сбрасывала его руку, страшно жалея Маргариту Алигер, которую явно не стоило обижать ради этого бессмысленного времяпрепровождения.

С тех пор я ее ни разу не встречала, пока много лет спустя, на другом жизненном витке, не увидела ее у Юлика Даниэля, к которому она пришла, чтобы поговорить о Тане.

Но это уже совсем другая история, которая, по словам Юлика, началась однажды ночью, - незадолго до того, как его посадили, но после того, как от него ушла Ларка. Не помню, писала ли я уже, что квартира Даниэлей на Ленинском проспекте, находилась на первом этаже большого густонаселенного дома. И вот однажды, когда все забредшие к Юлику в тот вечер гости разошлись, он, разомлев от выпитого, уснул, не раздеваясь, на диване. Разбудил его странный шорох, доносящийся откуда-то снизу, из дальнего угла комнаты. Он спросонья долго не мог нащупать выключатель ночной лампочки, стоящей на тумбочке возле дивана, и все время, пока он его искал, шорох продолжался и продолжался, только к нему присоединился слабый шепот, монотонно повторявший нечто, вроде таблицы умножения.

Наконец, Юлик нащупал кнопку выключателя и зажег свет. Ночная лампочка была маленькая, она отбрасывала светящийся круг только на окружающую диван часть комнаты. В темном углу, за пределами этого светлого круга, на полу сидела молодая темноволосая женщина поразительной красоты, лицо которой показалось Юлику знакомым. В руке у нее была зажата пачка денег, и она пыталась их пересчитать, монотонно повторяя беспорядочные цифры. Юлик направил на нее свет лампочки, но она, не обращая на него внимания, продолжала шевелить губами и шелестеть зажатыми в ладони банкнотами.

«Как вы сюда попали?» - спросил Юлик озадаченно, не очень рассчитывая на ответ. Но красавица ответила, не отрывая глаз от своих денег:

«Я влезла в окно»,

Окно и впрямь было открыто.

«А зачем?» - полюбопытствовал Юлик.

«За сумочкой. Я тут сумочку забыла. – И действительно предъявила маленькую сумочку. – А мама мне сегодня деньги дала. Но они не хотели возвращаться, тогда я велела таксисту остановиться, и пошла обратно одна. Ведь в сумочке деньги, которые мама дала».

«Ага, значит, она здесь сегодня была», - промелькнуло в

затуманенной голове Юлика. Смутный образ шевельнулся в его памяти, но приставить к нему имя не удавалось. Надеясь хоть что-нибудь из нее выудить, он спросил:

«А кто ваша мама?»

Она очень удивилась: «А вы не знаете? Моя мама – Маргарита Алигер».

И протянула Юлику деньги. – «Может, вы посчитаете? У меня что-то не получается».

Юлик взял ее руку с деньгами, но она не отпустила свою пачку, а уцепилась за его кисть и поднялась с пола. На этом рассказ Юлика закончился, дальше он только загадочно улыбался и качал головой, - мол, слов нет, и все. А Таня, уже не такая светящаяся, как в юности, но все еще подходящая под определение «гений дивной красоты», зачастила в затоптанное сотнями ног и заклеенное этикетками выпитых бутылок Юликино жилище. Внешне ей было там вовсе не место, но внутренне его отчаянная жизнь на износ вполне ей подходила – она ведь тоже с юных лет жила исключительно на износ.

Вполне понятно, что сердце ее бедной матери разрывалось в предчувствии беды. И она не придумала ничего лучше, как явиться к Юлику, - неясно зачем. Я как раз была у него с группой харьковских поэтов, приехавших в Москву проветриться. В дверь позвонили, что было здесь обычным делом, кто-то из поэтов пошел открывать, и в комнату быстрым шагом вошла одетая во все черное Маргарита Алигер, почти не изменившаяся, разве только поседевшая. Она, конечно, меня не узнала, она в нашу сторону и не посмотрела, а сказала хрипло и резко:

«Юлий Маркович, я к вам».

Юлик испуганно вскочил и поспешно указал ей на смежную комнату, где, к счастью, никто не отсыпался после вчерашней выпивки. Они прошли туда и закрыли за собой дверь. Пробыла она у Юлика недолго, полчаса, не больше, и вышла, нахохлившись, похожая на большую черную птицу, а Юлик с виноватой улыбкой неуверенно засеменил за ней до двери.

Когда дверь за ней закрылась, харьковские поэты вопросительно уставились на Юлика, но он не стал с ними откровенничать, а мне потом сказал, растерянно разводя руками:

«Она требовала, чтобы я отпустил Таню. Странная идея - разве я держу ее насильно?»

Беспокоилась Маргарита Иосифовна не напрасно – как только Юлика арестовали, Таню начали таскать в КГБ. От нее добивались исповеди о ее отношениях с Юликом, - похоже, они собирались пришить ему еще и аморалку, но потом почему-то передумали. Но пока не передумали, они клещами вцепились в бедную Таню и

ее подруг с одним и тем же сакраментальным вопросом: «Было или не было?» А так как Таня упорно отказывалась на этот вопрос отвечать, ее подолгу держали в запертой комнате и много часов не пускали в уборную. Она плакала и умоляла пустить ее пописать, а они смеялись и не пускали, и все таки она не раскололась, - тоненькая, хрупкая, почти прозрачная на просвет. И стала под пыткою Татьяной, как героиня поэмы своей матери.

Умерла она совсем молодой от лейкемии, - я прочла в каком-то медицинском журнале, что нет более сильного катализатора раковых заболеваний, чем регулярное неумеренное злоупотребление алкоголем. С ее смертью оборвалась петля судьбы, затянутая в доме Туси вокруг имени Таня.

А петля судьбы самой Маргариты Алигер оборвалась в обледенелой придорожной канаве, обтекавшей одну из переделкинских улиц . Пожилая поэтесса , очевидно, поскользнулась в темноте и упала в промерзшую канаву, где труп ее обнаружили только через несколько дней.

# МОЙ ПЕРВЫЙ СЕДЕР

С Дели Эльберт я познакомилась в бане. В этом не было бы ничего удивительного, если бы она в первый же вечер не пригласила нас с Сашей у нее ночевать. Мы в тот период просто погибали – это был наш первый год в Москве, где у нас не было ни друзей, ни жилья, ни прописки. Если учесть, что денег у нас тоже не было, то, оглядываясь в слезах на невозвратную юность, я сейчас, с высоты своих печальных лет, не могу понять, как же мы тогда выжили? Почему не послали к черту всю эту столичную блажь и не сбежали куда-нибудь в провинцию, под крыло папы-мамы?

Скорей всего, потому, что и в провинции нас тоже ничего хорошего не ожидало – наше еврейство перекрыло нам все пути, и наши попытки устроиться в каком-нибудь захудалом пединституте каждый раз кончались очередным фиаско. А главное, мы вовсе не чувствовали себя несчастными – напротив, нас наполняло предвкушение ослепительного успеха, надвигающегося на нас неотвратимо, как астероид. Ведь только что Саше неправдоподобно повезло: его приняли младшим научным сотрудником в московский Институт Мер и Стандартов. Приняли буквально в последний момент: за день до введения строжайшего закона о московской прописке Саше удалось прописаться на полгода на подмосковной даче какого-то дальнего родственника приятелей его тетки. Еще через два дня эта авантюра оказалась бы неосуществимой. И кто знает, как сложилась бы наша судьба без этой липовой прописки - ведь Саша той, приютившей его на полгода дачи, и в глаза не видел.

Получив известие о Сашиной удаче, я немедленно помчалась в Москву, сбросив на попечение своих безответных родителей нашего двухлетнего сына Володю. Здравого смысла в моей ветреной голове тогда было очень мало, но одно я знала твердо: «С любимыми не расставайтесь». Вот я и явилась в негостеприимную столицу нашей Родины с маленьким чемоданом в одной руке и с только-только завершенным переводом «Ворона» в другой. И мы с Сашей дружно и неразлучно начали мыкаться по чужому городу, в котором никому не было до нас никакого дела.

Никому, кроме органов милиции, свирепо преследующих по Москве нарушителей закона о прописке. Они проявили к нам немалый интерес – ведь полгода промчались быстро, Сашина прописка кончилась к декабрю, а о новой мечтать не

приходилось. С работы, правда, не гнали – там, однажды убедившись в наличии прописки, больше ее не проверяли. Но жить нам было негде.

Снять комнату дольше, чем на месяц, нам не удавалось. Каждая квартирохозяйка обязана была немедленно, под угрозой штрафа, относить наши паспорта в милицию на прописку, а дальше все развивалось по стандарту – милиция работала, как часы, и на обнаружение нашей проф-непригодности уходил ровно месяц. После чего к хозяйке являлся милиционер, и нас насильно выдворяли на улицу с нашими скромными пожитками. Постепенно вещей у нас становилось все меньше и меньше, потому что при каждом переезде половина их каким-то таинственным образом пропадала –терялась, ломалась, и втаптывалась в грязь. Так что мы с гордостью молодых ученых определили свой период полураспада – ровно один месяц.

Поначалу в промежутках между потерянными и вновь найденными квартирами - все-таки каждая давала нам месяц относительного покоя, - мы пытались ночевать у отдаленных родственников или у приятелей наших родителей, так как своих у нас в Москве не было. Но - увы! – мы быстро им надоедали, и через пару дней они, смущенно заикаясь, довольно однообразно предлагали нам убираться прочь.

Я их не виню, все они жили в тесноте и в обиде, и наше нежеланное присутствие вряд ли украшало их и без того убогое существование. Их всех объединяло одно страстное желание – чтобы я убралась к родителям в Харьков. Почему-то Сашина бездомность воспринималась ими менее болезненно, но мысль о том, что они выгоняют на улицу меня, очевидно, подрывала их самоуважение, - не настолько, правда, чтобы позволить мне остаться, но настолько, чтобы с чрезмерным исступлением требовать моего отъезда.

Уезжать из Москвы я не собиралась, тем более, что я уже начала по просьбе Корнея Чуковского выполнять подсобную исследовательскую работу для его книги о художественном переводе, и в смелых мечтах иногда видела, как передо мной отворяются двери литературной пещеры Алладина, которые вскоре и впрямь отворились. В результате, чтобы не огорчать родственников упрямым отказом последовать их мудрому совету, мы, в конце концов, перестали обращаться к ним за помощью.

Когда нас выгоняли в очередной раз, мы ставили свои сильно полегчавшие чемоданы – числом два, - под кровать моей школьной подружки Лины, - - и начинали кочевую жизнь. Лина снимала угол в смрадной комнате одной отвратной еврейской старухи, зорко следившей за каждым ее шагом, и ничем, кроме

тайного переноса наших чемоданов к себе под кровать, помочь нам не могла, Так что нам, отвергнутым московскими родственниками, не оставалось ничего иного, как ночевать на жесткой лавке в зале Центрального Телеграфа, притворяясь, будто мы ожидаем междугороднего телефонного разговора.

Милиция тогда сильно свирепствовала, вылавливая бесправных бродяг – в стране было голодно, и народ тянулся в Москву, город хлебный. Поэтому на случай проверки у нас была припасена предварительно оплаченная квитанция на трехминутный разговор с каким-то отдаленным городом, разговор с которым давали не сразу. Утром мы завтракали в соседней столовке, заказывая только по стакану чая, поскольку хлеб по милости благодетеля Никиты Хрущева в тот год бесплатно стоял на столах. Потом Саша отправлялся на улицу Щусева в свой Институт Мер, а я – в Ленинскую Библиотеку, готовиться к очередной сессии у Корнея Ивановича.

После рабочего дня мы шли в какой-нибудь недорогой ресторан, чаще всего в Дом Архитектора, удачно расположенный тоже на улице Щусева, - наших денег хватало на то, чтобы, если не платить за комнату, один раз в день прилично поесть и просидеть целый вечер в тепле. Хуже всего было с мытьем – и потому мы регулярно ходили в Сандуновские Бани. Билет туда стоил довольно дорого, так что в банный день мы ужинали в стоячей сосисочной ресторана «Прага». Полчаса можно было и постоять, благо остаток вечера мы проводили в теплом помещении бани.

Именно в такой переходный момент я разговорилась со своей соседкой по банной скамейке – немолодой, но все еще красивой женщиной с очень экзотической внешностью, показавшейся мне похожей на постаревшую прекрасную Ребекку, героиню романа Вальтер Скотта «Айвенго». В ней была такая элегантность, что даже в бане она выглядела дамой, и имя у нее было соответственное – Дели. Не знаю, чем я ей приглянулась, но она решительно взяла меня под крыло и провела по всем аттракционам Сандуновских Бань, осмотреть которые в одиночестве я никогда бы не решилась, стесняясь своей наготы.

Дели Павловна наготы не стеснялась нисколько, ни своей, ни моей, и, прогуливая меня мимо роскошных зеркал в узорных рамах, она без особых усилий вытянула из меня все подробности моей московской жизни. Особенно увлекли ее приключения, связанные с нашим последним по счету жилищем – не знаю, как его назвать, так как на определение квартиры оно не тянет. Это была вырытая в земле кое-как оштукатуренная дыра, отделенная от внешнего мира дощатым люком, прикрывающим несколько

уходящих вниз ступенек. Под ступеньками был темный предбанник, который вел в некое пространство с четырьмя стенами и с крохотным слепым окошком на уровне идущих по двору ног.

В этом пространстве не было ни воды, ни отопления, обогревалось оно огнем газовой плиты. Так как вытяжки в нем тоже не было, при обогреве возникал удивительный эффект, наглядно демонстрирующий законы физики – пока вода, стоявшая на полу в ведре покрывалась тонкой ледяной корочкой, головы наши всерьез взмокали от невыносимо горячего воздуха, поднимающегося над горящим газом.

Воду мы набирали из крана во дворе. Зима стояла суровая, а спуститься с полным ведром по нашим обледеневшим ступенькам было непросто, - немного воды всегда выплескивалось. Так что постепенно ступеньки превратились в ледяную скользанку, спуститься с которой можно было только сидя на филейной части – что мы и делали.

И все же нам ужасно не хотелось расставаться с этим жильем, ведь оно впервые за много месяцев было полностью нашим, без постоянного критического надзора квартирной хозяйки. Тем более, что переезжать нам было абсолютно некуда.

И потому, когда точно по расписанию через месяц явился очередной милиционер с очередным ордером на выселение, мы попробовали сыграть с ним в палочки-стукалочки: в ответ на его громкий стук мы погасили свет, затаились и притворились, что нас нет дома. Милиционер потоптался у двери, обсудил с хозяйкой возможность нашего скорого возвращения и ушел.

Наутро мы встали рано и, обнаружив, что за ночь выпал обильный снег, выбрались из своего логова. А вечером вернулись по тем же следам пятками вперед, создавая впечатление, что уйти-то мы ушли, но обратно не пришли. Пару дней милиционер верил нашим удаляющимся следам, которые мы ежедневно возобновляли, а потом ему надоели наши игры, и нам отключили свет. Так что мы снова оказались на жесткой скамейке в зале Центрального Телеграфа.

Дели ужасно хохотала, слушая мой рассказ, а потом, совсем как наши настырные родичи, поинтересовалась, почему я не уезжаю от всех этих ужасов домой к маме. Однако, услыхав мою заветную формулу: «С любимыми не расставайтесь», она в отличие от родичей немедленно приняла мою сторону. А когда я вдобавок ко всему поведала ей историю моего новенького с иголочки сотрудничества с К.И., она сказала совершенно серьезно: «Уезжать нельзя ни в коем случае», и после бани пригласила нас с Сашей к себе на ужин.

«Я вас напою чаем, а вы почитаете мне своего «Ворона», - решительно объявила она и потащила нас к троллейбусной остановке. Как мы вскорости обнаружили, была она дама очень решительная и причастная к литературной жизни.

Жила Дели с восьмидесятичетырехлетним папой в однокомнатной квартире на Солянке. Потолок ее комнаты уходил вверх так высоко, что, положенная на бок, она бы образовала вполне приемлемую двухкомнатную квартиру, чем Дели и воспользовалась: она разгородила свою комнату по высоте. На образовавшиеся антресоли вела крутая деревянная лесенка, нисколько не нарушая гармоничной красоты этой угловой комнаты,выгороженной из старинной барской квартиры.

Старенький Делин папа, Павел Аронович Эльберт, оказался человеком на редкость интеллигентным, и мы провели у них прекрасный вечер, читая друг другу свои любимые стихи. К концу вечера Дели поведала нам, что ее причастность к литературе не случайна, потому что она вдова Эдуарда Багрицкого. Впоследствии я узнала, что по Москве бродит еще пара-тройка женщин, претендующих на звание вдовы Багрицкого, но тогда я просто обомлела: так близко и так интимно – через прогулку нагишом под зеркалами Сандуновских Бань – я еще никогда не была знакома с женой знаменитого поэта! Да еще не какого-нибудь поэта, а Эдуарда Багрицкого, романтического кумира моей юности, друга Маяковского, умершего молодым от туберкулеза.

Как мы когда-то зачитывались его «Соловьиным садом» и «Думой про Опанаса», - я и приобщавшие меня к поэзии мальчики из литературного кружка при харьковской библиотеке Короленко! Как мы смаковали строки:

«У Махна по самы плечи волосня густая…»!

После признания Дели сердце мое стиснулось, и скромная ее комната превратилась в Соловьиный Сад. А она тут же, пошептавшись о чем-то с папой, вдруг объявила:

«Ну куда вы пойдете, на ночь глядя? На телеграф? Оставайтесь-ка ночевать у нас – на антресолях вполне хватит места на двоих».

Как давно мы, бездомные бродяжки, отвергнутые всеми, кто мог бы оставить нас у себя ночевать, не слышали столь сладкозвучных слов! Не тратя силы на возражения, - а вдруг она передумает? - мы поспешно вскарабкались на антресоли и мгновенно заснули, как убитые, – брошенный на доски помоста старый пружинный матрас показался нам царским ложем после нескольких мучительных ночей на лавке телеграфа.

Наутро, убегая на работу, Дели сказала буднично, как

будто это само собой разумелось:

«После работы принесите свои вещи – поживете здесь, пока что-нибудь найдете».

Мы радостно перенесли вещи и почти на две недели остались на ее гостеприимных антресолях. Каждый день после окончания Сашиного рабочего дня мы отправлялись на поиски нового жилья, но в те времена это было очень непросто – не существовало ни посреднических агентств, ни объявлений в газетах. Честно говоря, я сегодня не могу вспомнить, как нам удалось найти большую часть тех съемных комнат, из которых нас регулярно выгоняли с периодом полураспада в один месяц. Ведь их было немало – не менее чем семь-восемь. Откуда же они брались? Припоминается, правда, какая-то биржа съемных квартир на Мещанской, но у нас там вышло несколько осечек, и мы перестали туда ходить.

Особенно страшный казус случился с сиплым мужиком в сапогах и картузе, который радостно поволок нас прямо с биржи в район каких-то новостроек, обещая отличную комнатку, светлую и недорогую. Комнатка оказалась неплохая, - хоть и расположена была далековато от средоточия наших интересов, но зато цена приемлемая. Было это в тот светлый период, когда мы еще могли с заискивающей улыбкой переночевать пару ночей у мрачнеющих раз от разу родственников, но уже всей кожей чувствовали неумолимое приближение полного отказа.

Так что мы поспешно выразили готовность комнатку снять, и даже дали хозяину небольшой задаток, - нам было важно сразу же остаться там на ночь и не возвращаться к уставшим от нас родственникам. Мы уже поглядывали на ободранный диван, прикидывая, можно ли будет на нем устроиться без простыни и одеяла, но тут наш мужик потребовал сделку обмыть, как положено, для чего сгонял Сашу в соседний «Гастроном» за чекушкой.

И тут начались неприятности. Выпив почти полностью всю чекушку, - не сообразив, что нам надо спешно уменьшить количество взрывоопасного продукта, я отказалась, а Саша едва пригубил, – хозяин начисто забыл, что он комнату сдал, и решил лечь спать на своем кургузом диванчике, втиснувшись между нами. На все наши уговоры он вполне логично отвечал, что комнатка эта – его, и другой у него нет, так что уходить ему некуда и незачем, а лучше будет, если уйдем мы.

Мы бы, пожалуй, и ушли, но пока мы покупали и распивали чекушку, перевалило сильно заполночь, транспорт ходить перестал. Да и вряд ли мы бы могли явиться среди ночи в дом самого любящего родственника, чтобы он начал раскрывать

кресло-кровать или втискивать раскладушку между детской колыбелькой и бабушкиным диваном. Так что мы решительно не желали уходить, тем более, что уже заплатили задаток.

Тогда хозяин вконец разбушевался и начал наступать на нас с поднятой над головой бутылкой. В ответ на что Саша, вооружившись сознанием своего законного права квартиросъемщика, схватил хозяина в охапку и вытолкнул – сперва в крохотную прихожую, а потом сильным пинком вон из квартиры.

Некоторое время изгнанный хозяин, истошно матерясь, ломился обратно, многократно звонил в звонок, бил несчастную дверь кулаками и пинал ногами. Мы, затаившись, не отзывались, и, к нашему удивлению, ни один из многочисленных соседей даже не сделал попытки вмешаться. Видно, все хорошо знали, с кем имеют дело. Через какое-то время, показавшееся нам бесконечным, он затих и исчез. Как только забрезжил рассвет, мы сбежали оттуда, смирившись с мыслью о потерянном задатке.

Зато на антресолях у Дели мы проживали не как жильцы-съемщики, а как младшие друзья, - несмотря на свою изрядную бедность, она ни за что не соглашалась брать с нас деньги. Мы старались скомпенсировать это, как могли: каждый вечер, после изнурительных поисков жилья, мы заходили в Елисеевский магазин и покупали какой-нибудь роскошный продукт который себе бы не позволили, вроде трехсот граммов колбасы, или двухсот граммов сыра. И по приходе устраивали литературный пир – с чтением стихов и с рассказами о поэтических буднях.

В тот вечер, когда я вернулась из своей рутинной поездки к Корнею Чуковскому, вся компания поджидала меня за накрытым столом. Любопытная Дели потребовала от меня подробнейшего отчета обо всем, что я видела и слышала в Переделкино. А видела я кое-что интересное – на чай к К.И. заявился Константин Федин. Меня тоже оставили к чаю, и я сидела тише воды, ниже травы, слушая диалог двух великих людей, однако, не забывая при этом отдать должное отличному, Машиному хворосту. О чем тогда шла речь, я сейчас уже не в состоянии вспомнить, а образ чуть присыпанной сахаром горы хрустящего хвороста на блюде храню в сердце по сей день. Как и мое ни с чем не сравнимое ощущение, что мне дано присутствовать при беседе богов.

Дели взялась помогать нам в поисках жилья, и в результате мы поселились в совершенно замечательной полуподвальной квартире на 5-й Лесной улице у милой девушки Нели, примерно нашего возраста, которую внезапная смерть матери вынудила к срочной сдаче одной из двух ее комнат.

Наша Неля, единственная из всех встреченных нами

квартирных хозяек, не боялась доноса дворника – ее покойная мама как раз и была дворничиха, и Неля унаследовала ее завидную должность вместе со служебной квартирой. Поэтому она не потащила тут же наши паспорта на прописку, а просто велела нам входить и выходить осторожно, по мере сил скрываясь от соседей.

Для такого грубого нарушения закона у Нели были весьма веские причины, обнаруженные нами почти незамедлительно после счастливого вселения. Вряд ли кто-нибудь, имеющий законные права, согласился бы жить в ее квартире, которая представляла собой предвосхищенную мечту Владимира Сорокина – примерно раз в неделю из люка в центре кухонного пола в нее начинало, неудержимо вспухая, вливаться содержимое московской канализации. Уровень бедствия зависел как от степени непроходимости, возникшей в недрах канализационной системы, так и от скорости нашей реакции. Необходимо было срочно, при первых же признаках этого неотвратимого явления природы, включать мощный насос, специально установленный рядом с люком.

Но ведь мы не всегда были дома в минуту бедствия, так что порой любимая субстанция Сорокина заполняла всю квартиру в виде разжиженного мочой супа, когда по щиколотку, когда по колено. В предвидении такой возможности все предметы в квартире были расположены на специальных помостах, что спасало их от уничтожения, но – увы! – не от запаха.

И все-таки в этой квартире мы, наконец, были счастливы – никто нас не преследовал, никто не воыгнял. Жизнь была прекрасна! Толпы наших харьковских друзей начали немедленно приезжать в Москву – кто за продуктами, кто так погулять, - и весело ночевать у нас, не обращая внимания на ароматный Сорокинский пейзаж.

Вскоре выяснилось, у нашей благотворительницы Дели были еще кое-какие области духовной жизни, важные для нее, хоть и скрытые от постороннего глаза. Однажды в середине апреля она позвала нас в гости от имени своего отца, Павла Ароновича. Мы любили ходить в их хлебосольный дом и с радостью согласились, не подозревая, что нас ожидает.

Еще с порога мы увидели парадно накрытый праздничный стол, украшенный двумя свечами в витых серебряных подсвечниках и уставленный блюдами с какими-то невиданными экзотическими кушаньями.

«У вас день рождения?» - с детской мудростью догадались мы, любуясь Павлом Ароновичем, суетящимся вокруг стола в нарядной крахмальной рубашке. Мы были еще в том возрасте,

когда кажется, что у человека нет праздника важнее дня рождения.

«А вот и не угадали! Сегодня совсем другой праздник, не мой, а наш общий – первый седер Песаха. Тот, что в России называют еврейской пасхой», - воскликнул старик со счастливым смехом.

Но увидев наши озадаченные лица, слегка опечалился:

«Да ведь вы ничего не знаете о Песахе, правда? О самом великом празднике еврейского народа? Бедные вы, бедные, от вас это скрыли! Но я вам сейчас расскажу, и вы будете знать!»

Он рассказал нам и о рабстве в Египте, и об Исходе, и о Моисее, и о бегстве через пустыню, и о расступившихся водах Красного моря. Саша, правда, потом хорохорился и утверждал, что он многие из этих рассказов слышал от дедушки, но я почему-то ему не поверила – как это он, такой говорун-любитель, ни разу ничего из этих сказок мне не поведал?

Это был первый в моей жизни седер, и самый увлекательный. Павел Аронович написал русскими буквами четыре вопроса на иврите, которые Саша должен был ему задать, и церемония началась.

«Ма ништана алайла азэ ми коль алейлот?», - спрашивал Саша: чем эта ночь отличается от всех других ночей?

Старик отвечал, Саша спрашивал опять, и мы по знаку старика то макали крутое яйцо в соленую воду, то клали в рот жгучую щепотку натертого хрена с горчицей. И все это было так необыкновенно, так сладко! Выходило, что мое еврейство не сводилось только к постоянной обиде и большому непостижимому неудобству - у меня вдруг обнаружились свои привилегии и преимущества. Мой народ был не только бельмом на глазу всего прогрессивного человечества, но, как ни странно, объектом зависти и ревности других народов – ведь у нас была своя история и своя традиция, более древняя, чем у них! Я с восторгом перепробовала все блюда праздничного стола – и ушла домой окрыленная.

Через пару недель я поехала в Харьков проведать маму, папу и сына. Я жаждала поделиться с ними своим открытием – я хотела их утешить и облегчить им тяжелую ношу их еврейской судьбы. Не замечая их вытянувшихся лиц, я упоенно рассказывала им все подробности этого пасхального ужина. И вдруг моя мама зарыдала. Я уставилась на нее, ничего не понимая, - у мамы был очень твердый характер, и я никогда не видела ее плачущей. Да еще так громко, так горько, так отчаянно!

«И это моя дочь! – выкрикивала она сквозь слезы, совершенно как библейская пророчица. – До чего мы докатились!

Я всю жизнь боролась с этим страшным еврейским мракобесием! Я вырвалась из их хватки на свободу и стала человеком! А моя дочь – моя дочь! - идет в чей-то чужой дом и участвует в их шабаше! А мой зять произносит эти идиотские вопросы - кашес – о горе мне, о стыд, о позор!»

Бедная моя мама – сколько разочарований я ей принесла! Все трудные московские годы, пока я, бездомная и неприкаянная, моталась по чужим домам, я чувствовала свою вину перед ней. За то, что не сумела построить свою жизнь согласно ее светлому идеалу, за то, что не устроилась в хорошем университете в соответствии со своими способностями и ее мечтами. За то, что я не выполнила ни одной из священных маминых заповедей и не стала гордой равноправной гражданкой созданного ею счастливого сообщества гордых равноправных граждан. И отклонилась от избранного ею пути по первому же зову какой-то чужой и чуждой женщины, которую мама проклинала, обвиняя в злостном стремлении обратить меня в свою веру.

А ведь то были только цветочки! Главное было еще впереди. Мама умерла от сердечной недостаточности сравнительно молодой, и это спасло ее от многих новых разочарований. Она умерла в декабре 1965 года, в самый разгар следствия по делу Синявского-Даниэля, так и не узнав ничего о нашей пагубной роли в сплочении московской интеллигенции в защиту подсудимых. Представляю, как бы она страдала, если бы узнала.

И до конца не могу решить, от чего она страдала больше – от разочарования во мне, от страха ли за меня, или от обиды, что с незнакомкой, случайно встреченной в бане, мне было легче найти общий язык, чем с ней.